



Михаил Николаевич Щукин
Конокрад
Серия «Сибириада»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654633
Михаил Щукин. Конокрад: Вече; Москва; 2010
ISBN 978-5-9533-5444-8, 978-5-4444-8301-5

Аннотация

Стоит на великом сибирском тракте шумный и бойкий городок Новониколаевск. Пришлых людей много, так что всякое случиться может. Потому, когда у полицмейстера Гречмана в один из погожих зимних деньков увели тройку гнедых скакунов, никто из обывателей и представить не мог, что это не обычная кража, а начало самой настоящей, изощренной мести, и что знаменитый конокрад Васька-Конь вовсе тут ни при чем...

В новом романе известного сибирского писателя Михаила Щукина удачно соединились лихо закрученный сюжет и великолепные, яркие картины жизни Сибири начала прошлого века.

Содержание

| | |
|---|----|
| Глава первая. Но наступит час нежданный | 5 |
| Глава вторая. Мчалась тройка по свежему снегу | 29 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

Михаил Щукин Конокрад

© Щукин М. Н., 2010

© ООО «Издательский дом „Вече“», 2010

Глава первая. Но наступит час нежданный

*Но наступит час нежданный,
И придет любви мечта,
Поцелует друг желанный
Эти нежные уста.
И придут порывы страсти,
Будет радость и тоска,
Будет горе, будет счастье,
Будут слезы, а пока...*
(Из старого романа)

1

Началась эта история в молодом сибирском городе Ново-Николаевске в одна тысяча девятьсот тринадцатом году, на третий день после Рождества.

Рано утром, толком еще и не рассвело, в полицейском участке обнаружилась пропажа: бесследно исчезла из конюшни тройка самолучших лошадей. Два гнедых жеребца и одна кобыла, тоже гнедая. Конюх, Степан Курдюмов, тихонько, по-щенячьи, скулил и суетливо бегал, вздев над головой фонарь, возле двери, которую только что сам собственноручно и открыл, отомкнув перед этим большим ключом висячий амбарный замок. Степан хорошо помнил, что три раза хрустнул, проворачиваясь, ключ в мерзлом нутре замка – значит все целым было, и петли, кованые, толщиной в палец, тоже целые. А на свежем снежку, нападшем за ночь, ни единого следочка не виделось, кроме его собственных – большие, почти круглые вмятины от подшитых и давным-давно расшлепанных пимов.

Вот так: все в сохранности, не поцарапано даже, а коней – нету, нигде нету. И сено в яслях, где обычно гнедые стояли, лежит нетронутым.

– Да разорвало бы твою утробу распьянцовскую! – продолжал поскуливать тонким голосом Степан, все еще вздымая над головой фонарь и тупо глядя себе под ноги. – Да сгорела бы твоя трубка от вина синим пламенем! А я – дурак! Дурак!

В первую очередь он ругал своего кума, Бавыкина, который исполнял при конюшне обязанности сторожа и должен был караулить нынешней ночью. Но Бавыкин, разговевшись на светлый праздник, остановиться никак не мог и хлебал без меры до тех пор, пока не достигал, по его словам, полного удовольствия: лежишь, а тебя еще и покачивает. И вот Бавыкин вчера лежал, его покачивало, а кума, женка бавыкинская, прибежала к Курдюмовым и упростила Степана подменить непутевого мужа на посту. И он, орясина безмозглая, согласился. Дальше Степан ругал уже самого себя. За собственную бесхребетность, за то, что отказать никому не может – кивнет глупой своей бестолковкой: «Ладно уж, чего там...», а после – расхлебывает. Ведь совсем недавно еще служил в добром и спокойном месте, в ассенизаторском обозе, служил и горя не ведал: лошади тихие, смиренные, да иные там и не нужны были, потому как всем известно, что жидкое дерьмо вскачь не возят. Но тут городское Общество любителей конного дела и скачек открыло в прошлом году ипподром в Татарской слободке. Раньше это общество устраивало состязания где ни попадя: зимой – на Оби, по льду, а летом – прямо на улицах. В последнем случае лошадей и их наездников нещадно облаивали городские собаки и материли, на чем свет стоит, жители. А тут – ипподром! При нем – конюшня, сараи для запряжки лошадей, а главное – верстовой круг и трибуна. Чинно, благородно, достойно. Теперь сюда весь свет новониколаевского общества стал собираться. Начальник

ассенизаторского обоза, не желая отставать от других, записался в общество, купил доброго коня и сделал заявку на участие в скачках. Но так как сам он с лошадьми обращаться не умел и верхом никогда не ездил, поручил это дело – в скачках участвовать – Степану Курдюмову. Тот, по глупой своей привычке, кивнул: «Ладно уж, чего там...», оседлал в воскресенье коня начальника, явился на ипподром и сорвал первый приз. Чем и порушил прежнюю свою, спокойную, жизнь.

На следующий день после неожиданной победы ему велено было срочно, прямо в сей момент, явиться к полицмейстеру Гречману. Все бросив, даже руки от дегтя не отмыв, Степан кинулся в участок. Знал, что к полицмейстеру опаздывать никак нельзя. Славился Гречман суровой беспощадностью, злым характером и вдобавок ко всему был еще и скор на расправу. Невысокого роста, приземистый, но широкоплечий и крепкий, будто из железа выкованный, Гречман был невероятно силен: подковы разгибал, кочергу в узел завязывал, а если какой бедолага попадал ему в руки – лучше про это и не думать...

Робко, переминаясь с ноги на ногу, предстал Степан перед полицмейстером, враз охрипшим голосишком выдавил из себя:

– Здравствуйте вам... Сказали мне, явиться велено...

– Велено, велено, – голос у Гречмана, как у протодьякона – гулкий, раскатистый, – велено тебе, разлюбезный, с завтрашнего дня сюда на службу явиться: будешь у нас конюхом. Плату станешь получать на пятнадцать рублей больше, чем в вашей говновозке...

Может быть, Степан и возразил бы чего, набрался бы смелости и отказался, но пятнадцать рублей заворожили, последний умишко отняли. Кивнул: «Ладно, чего уж там...» – и заступил на новую службу, которая медом ему никак не показалась. Гречман требовал, чтобы лошади перед выездом были вычищены и выскоблены, чтобы вид они имели бравый, чтобы сбруя огнем горела. А если какая из них будет не вовремя подкована или захромает – жди крутой затрещины, за Гречманом никогда не заржавеет.

Зато уж и выезд был у полицмейстера!

Вихрем пронеслась по новониколаевским улицам гнедая тройка, следом – конные полицейские, а впереди с громким лаем неслась стая лохматых собак. Испуганные горожане прижимались к заборам, бродячие коровы, вздернув хвосты трубой, убегали в глухие переулки, а брехливые шавки, уронив уши, безмолвно кидались под ворота и уже в оградах, забившись в дальний угол, пережидали грозное явление. Лохматые злые кобели, бегавшие впереди тройки полицмейстера, тоже числились как бы при участке, и для них специально покупали бросовые кости на базаре. «Мы кто? – любил говорить Гречман и оттопыривал короткий, будто обрубленный, указательный палец. – Мы – власть! А власть должна являть мощь, силу и вид иметь суровый!»

И вот у этой суровой власти украли лошадей.

Степан еще раз зашел в конюшню, потоптался возле пустых яслей, поругал, уже молча, себя, кума Бавыкина, не забыл и начальника ассенизаторского обоза – с него ведь началась катавасия, заодно поругал жизнешку, которая выплясывается не так, как надо, и только полицмейстера Гречмана черным словом не помянул: побаивался.

А вот и сам он, легок на помине. Возник неслышно в проеме двери, на фоне уже светлеющего неба, обтер широкой ладонью пшеничные усы от инея, зарокотал:

– Курдюмов, ты где?!

– Коней увели, – сразу, будто прыгая с обрыва вниз головой, сообщил Степан, вздохнул, набирая в грудь воздуха, и добавил: – Гнедых...

Гречман шагнул в конюшню, вырвал у Степана фонарь и замер, глядя на нетронутое сено в яслях. Долго глядел. Степан скукожился, ожидая затрещины и матерков на свою голову, но Гречман на него даже не обернулся. Раскачивал фонарем и шепотом, отчего голос звучал у него по-особенному зловеще, не говорил, а как бы выдыхал из себя:

– Да это... Какая гнида посмела?! У власти! В порошок сотру, в землю вобью! Вымочу и высушу! – Обернулся к Степану и по-прежнему шепотом: – Никому ни слова! Ни-ко-му! Язык выдерну!

Не выпуская фонарь, Гречман обошел всю конюшню. Степан, трусцой поспевая следом, в спину ему докладывал, что замок, когда он открывал его, был не тронут, петли в сохранности, а снег перед воротами лежал не примятый.

– Ума не приложу – куда делись? Как растворились! – бормотал он, стащив с головы трух и вытирая вспотевший лоб.

Вышли на улицу, оглядели замок, петли, снег под ногами. Гречман, раздувая ноздри, тяжело дышал, будто конь после скачки, и пар от дыхания облаком стоял над его форменной шапкой. На улице почти совсем рассвело, и фонарь был без надобности, но Гречман не выпускал его из рук и так, с фонарем, отправился осматривать конюшню с наружной стороны. Степан, след в след, попевал за ним. Когда добрались до глухой стены, замеченной почти до самой крыши снегом, увидели: раскопана в снегу дорожка, и раскопана как раз в том месте, где раньше были вторые, запасные, ворота в конюшню. По осени, когда грянули страшные морозы, Гречман велел эти ворота забить. Косяки вынули, напилили по размеру бревен и заложили ими, прикрепив скобами, неширокий проем.

Теперь все стало ясным, как светлый день.

Конокрады вытащили скобы, вынули вставленные бревна, вывели в освободившийся проем лошадок, а затем бревна и скобы – не поленились! – вставили на прежнее место. Только мох в пазы не положили, его темные спрессованные куски валялись на снегу.

– Пожалеют, что их мать родила, пожалеют!.. – голос у Гречмана зарокотал с привычной силой.

2

Инская улица, как гулящая девка, имела в городе дурную славу.

Несколько кварталов крепких, осадистых домов, которые тянулись вверх от речки Каменки, вроде бы ничем не отличались от иных прочих, стоящих на других улицах: срубленные без особых изысков, с двускатными крышами, с палисадничками, в которых реденько торчали где березка, где рябинка, – они, тем не менее, имели свою особенку. И заключалась она в том, что редко возле какого дома внимательный взгляд мог отыскать двор для скота, конюшню или, на худой конец, хлев для поросюшек. Не обременяли себя жители Инской такими серыми и скучными занятиями. Другое дело – бани. Большущие, просторные, что твой домина, они важно красовались на задах огородов, и в любую, даже самую снежную, зиму прокопаны были к ним широкие дорожки. Топились бани без всякого расписания: рано утром, вечером, а то и поздно ночью, когда видно было в темноте, как вылетают из труб яркие и бойкие искры.

Все эти странности являлись не причудой жителей Инской, а диктовались родом их занятий: едва ли не в каждом доме имело место быть, по большей части негласно и тайно, развеселое публичное заведение. Под разнобойные голоса гармошек и гитар, под рев граммофонов и зазывные женские хохотки в этих домах столько промотано денег, столько пролито пьяных слез и порвано рубах, столько, в конце концов, жизнью и судьбой пущено под откос, что добропорядочные новониколаевцы старались здесь не показываться и даже писали жалобы в городскую управу и полицмейстеру, требуя закрытия заведений, оскорбляющих общественную нравственность. Ответ им поступал один и тот же: сосредоточение публичных заведений в одном месте облегчает контроль над их деятельностью, дабы зараза разврата не расползлась по всему городу.

И жила Инская улица прежней своей забубенной жизнью, хмельной и шумной – хоть на один час, да сладкой.

Рано утром, на третий день после Рождества, брела здесь, мимо домов и палисадников, тяжело опираясь на длинную суковатую палку, Зеленая Варвара – старуха странная и страшная.

Круто прихрамывая на левую ногу, она бороздила неулежалый снег и оставляла справа глубокие лунки от палки, остро затесанной на конце, как копьё. Смотрела себе под ноги, низко склонив плоскую голову, будто ее перевешивал длинный изогнутый нос, похожий на клюв неведомой птицы. Вся одежда на ней, начиная с низко повязанного платка и заканчивая пимами с короткими голенищами, была зеленого цвета. Даже рваные перчатки, из которых высовывались худые крючковатые пальцы с загнутыми ногтями, – зеленые.

Не оглядываясь по сторонам, не замедляя своего тяжелого, гребущего шага, старуха брела и брела, казалось, без всякой цели и направления. Но нет. Остановилась возле дома с яркими синими наличниками, подняла голову, пробурчала что-то невнятное и грохнула суковатой палкой в глухие, изнутри закрытые ворота. Открывать на этот стук не спешили, и тогда старуха, поудобней перехватив правой рукой палку, забарабанила с такой силой, что гул зазвучал над всей улицей. В ответ состукали двери, прохрупали торопливые шаги по снегу и женский голос, хриплый и злой, возмутился:

– Кого там черти принесли?! Чего тарабаните?!

– Отчиняй ворота, Матрена. Я пришла, Варвара.

– Охтим нешеньки, – голос в одно мгновение переродился, зазвучал ласково и подобострастно, – а я думаю: кто к нам с утра в гости пожаловал?.. Милости просим, Варварушка, проходи...

Звякнул железный запор, глухие ворота распахнулись, и толстая, встрепанная Матрена Кадочникова, содержательница тайного публичного дома, беспрестанно кланяясь, попятилась задом к крыльцу, пропуская Зеленую Варвару в свое веселое заведение. Являло оно собой зрелище немудреное и простое: махонькая прихожая с большой русской печью и со шкафчиком, за стеклом которого виднелся небогатый набор посуды, дальше – зал с большим круглым столом, застеленным синей скатертью, а по бокам – три двери, ведущие в отдельные комнатки. Одна из дверей была открыта, и через узкий проем виднелась железная кровать с алым атласным одеялом, и возле кровати – узкий столик на гнутых ножках да венский стул с наброшенной на его спинку цветастой юбкой.

– Садись за стол, Варварушка, я самовар подам, вареньице выставлю, чайку попьем... – Матрена продолжала семенить перед гостьей, а сама пыталась широким задом прикрыть нечаянно распахнувшуюся дверь в комнатку, где шибко уж зазывно алело атласное одеяло. Зеленая Варвара будто и не слышала хозяйки – как перешагнула порог, так и встала намертво, уцепившись за свою суковатую палку правой рукой, а левой придерживая какую-то поклажу у себя за пазухой. Большой загнутый нос, грозно нависая над блеклыми, выцветшими губами, словно что-то вынюхивал.

– Прходи, прходи, гостья дорогая, присаживайся, в ногах правды нет... – лебезила, не утихая, Матрена.

– Врешь, лахудра распутная! – голос из тощего тела, как из трубы иерихонской, – никакая я тебе не дорогая! Подай мне девку, убедиться желаю, как ты ее извалтузила! Подай!

Последнее слово так громко грохнуло, будто из ружья пальнули. Матрена колыхнулась телесами, в лицо ей кинулась ярая кровь, и от толстых обвислых щек можно было теперь поджигать лучину. Перепуганная до потери дыхания, хотела все-таки хитрая баба повернуть по-своему, затараторила сорочьей скороговоркой:

– Не пойму, Варварушка, пошто ты гневашься, никак не пойму – никого не валтузила, девоньки мои во здравии и веселы, конфет им намедни купила, уж так радовались...

– Подай! – снова громыкнула старуха, и остро затесанный конец палки вонзился в широкую крашеную половицу.

– Да спят они, милая ты моя, спят сладкие, я и будить их не хотела, пускай понежатся...

Договорить Матрена не успела: легкие филенчатые двери крайней комнатки распахнулись с треском, и в зал вырвалась зареванная девушка с распущенными волосами, в изорванной нижней рубаше, сквозь лоскуты которой просвечивали на белом теле красные полосы.

– Врет она все, Варвара, врет! – рыдала девушка, не утирая слез. – Вот ее доброта да нежность – ремнем хлестала. А за что? Один раз отлучилась без спроса – а накинулась, как зверь. Найди ей управу, Варварушка, всю судьбу заела!

– Я заела?! – взметнулась Матрена, отчаянно взмахивая руками. – Да ты бы давно загнула, с голоду сдохла бы!

– Цыть! – властно осекла ее старуха. – Молчи, толстомясая, меня слушай. Еще раз до девки дотронешься – изничтожу. Праху не останется. Слышишь?!

– Слышу, слышу, – серея щеками, сгибаясь и оплывая телесами, испуганно бормотала Матрена, – все исполню, только не серчай.

– Гляди у меня! – из-за пазухи, из вороха зеленого тряпья, намотанного поверх рваной шубейки, старуха вытащила левую руку, а в ней – махонький, еще слепой, котенок. – Прими животину; пои, корми, не вздумай угробить. Ну?! Держи!

Прямо в ладони передала Матрене котенка, круто развернулась и вышла из дома, оставив двери за собой распахнутыми настезь.

Матрена так и села на лавку с котенком в руках, тупо и незряче уставясь в открытые двери. Только и смогла выдать из себя злым, растерянным шепотом:

– И откуда тебя черти на нашу голову притащили?!

А вот этого – откуда появилась Зеленая Варвара и кто она такая – не знал никто.

Объявилась она в городе лет пять-шесть назад, сразу собрав вокруг себя на станции толпу зевак, которые дивились на ее зеленые одежды, показывали пальцами и хохотали в свое удовольствие, потешаясь бесплатным зрелищем. Старуха, сидя на лавке, спокойно перебирала зеленые тряпочки, разглаживала их на коленке, сворачивала и складывала в мешок с веревочными завязками, тоже зелеными. На людей, столпившихся вокруг, она даже и глазом не повела. Тряпочки уложила, мешок увязала, приладила его себе за спину и пошла, постукивая по полу суковатой палкой и глядя себе под ноги, опустив голову. С этого дня она и стала жить в городе, по которому ходила с раннего утра до поздней ночи, пересекая его из конца в конец, редко где присаживаясь и отдыхая. Кормилась подающими, ночевала где придется: зимой – в банях и хлевах, а летом – под кустом или на лавке. Она могла зайти в любой дом, нашуметь на хозяев, если занимались они неблагоприятными делами, и редко кто отваживался выставить ее за порог. Имелась на то веская причина, потому как страх перед старухой возник не на пустом месте, а после одного страшного и всех удивившего случая. Бондарь Архипов с Сузунской улицы, вечно пьяный и драчливый, так круто отутюжил под горячую руку свою жену, что она захаркала кровью. А ему – трава не расти. Гулеванит по-прежнему, песни орет, бродит по ограде в разодранной рубаше и лается на прохожих. И появляется в это самое время Зеленая Варвара. Закричала, стала строжиться на Архипова, но тот лишь сильнее раззадорился. Она ему слово, а он ей в ответ – десять, и все матерные. После и совсем в раж впал: вытолкал старуху взашей из ограды и напоследок, за воротами уже, так поддал, что она растянулась в пыли зеленой ветошью. Поднялась, отряхнулась, перехватила удобней суковатую палку и погрозила: «Пожалеешь еще, да поздно будет!» С тем и ушла. На следующий день Архипов забился в падучей; его отходили, но он начал чахнуть и истаял за две недели, в гробу лежал – кожа да кости. А жена его выздоровела. И до сих пор живет, на той же Сузунской улице. После этого случая Зеленую Варвару стали не на шутку бояться, заискивали перед ней и старались задарить. А задарить ее можно было только одним – пре-

поднести какую-нибудь вещь или просто тряпочку, но непременно зеленого цвета. Она радовалась таким подаркам, как дитя малое, и даже подобие улыбки появлялось на блеклых, сморщенных губах.

А еще Зеленая Варвара никогда не проходила мимо, если на глаза ей попадался брошенный щенок или котенок. Обязательно подберет, сунет в лохмотья на груди, обогреет, а после заявит кому-нибудь в дом и вручит свою находку, строго-настрого наказав при этом не обижать животину, а кормить и холить. По прошествии времени не ленилась и приходила проверять – как ее наказ выполняется. По этой или по какой иной причине, но ни одна собака, даже самая злая, никогда на Варвару не гавкала и ни разу не укусила. Еще издали завидев ее, дворняги сразу начинали вилять хвостами, а страшные цепные кобели во дворах припадали на передние лапы и ползли ей навстречу, насколько позволяла крепкая привязь.

Так вот и жила Зеленая Варвара в Ново-Николаевске.

Матрена вскинулась на лавке, будто от сна пробудилась, бросилась к комоду, порылась в нем и вытащила легонький зеленый шарфик. Старенький уже, в дырках, ну да ладно, дырки не в счет – главное, что зеленый.

– Анька, догони Варвару, отдай, – приказала она, протягивая шарфик растрепанной девушке, с которой только что зубатилась, – да быстро беги, не мешкай!

Анна, не мешкая, натянула на себя юбку с кофтенкой, накинула шубейку и выскочила за ворота, на ходу повязывая платок. Варвара уже спускалась по берегу Каменки, собираясь перейти речку по льду. Анна догнала ее на самой кромке, подала шарфик, благодарно поклонилась:

– Спаси Бог тебя, Варварушка, заступилась за меня. А это Матрена тебе пересылает, напугала ты ее.

Варвара растянула шарфик, полюбовалась им и бережно сунула за пазуху. Цепким, острым взглядом окинула Анну, неожиданно взяла ее за руку и повела за собой. Недалеко от берега выдолблена была во льду длинная прорубь, в которой бабы обычно полоскали белье. За ночь прорубь подернулась тонким ледком, а сверху его припорошил снежок. Подведя Анну к проруби, Варвара с размаху ударила своей палкой в ледок, и тот треснул, раскалываясь, темная вода выплеснулась, слизывая снег. Еще и еще раз ударилась палка, издавая тонкий, хрустящий звук.

– Видишь? – строго спросила Варвара.

– А чего надо видеть-то? – растерянная и слегка напуганная, Анна смотрела во все глаза на темную воду.

– Вот так и жизнь твоя может хрустнуть. Ударят – одни льдинки отскочат. Ты, девка, нынче ночью в какую игру ввязалась? В страшную! Доиграешься... Матренина трепка лаской покажется. Брось, отступись, пока не поздно.

– Да о чем ты, Варварушка?

– Не вилай. Сама знаешь. Я сказала, а ты думай, хорошенько думай, на то и голова дана. Ладно, ступай, и я пойду. Бойся, девка!

На этот раз Анна ничего не ответила, понурилась и смотрела попеременно то в спину уходящей Варваре, то на темную воду в проруби.

3

Больше всего на свете Тонечка Шалагина не любила жареный лук в супе и рано вставать. И надо ж было случиться совпадению: мало того, что утром пришлось подняться ни свет ни заря, так еще на завтрак Фрося, новая горничная, подала суп, в котором плавал румяный, по краешкам темный, в масле обжаренный лук. Тонечка сложила пухлые губки бантиком, хотела уже отказаться от супа, но мамочка глянула на нее, как будто пальцем погро-

зила, и послушная доча, обреченно вздохнув, принялась вылавливать ложкой противный лук, выкладывая его на края тарелки.

Мамочка, Любовь Алексеевна, держала детей в строгости и послушании. Последнее слово в семье Шалагиных всегда оставалось за ней. Папочка, Сергей Ипполитович, в домашние дела почти не вникал: он на паях с компаньонами содержал мельницу и почти все время, за исключением редких праздников, пропадал в конторе либо в поездках. Чувствуя за собой вину, что мало занимается детьми, он их безумно баловал, никогда не наказывал, и Любовь Алексеевна иногда в сердцах выговаривала: «Сережа, если тебе доверить детей, мы можем отказаться от кучера: они все будут ездить на твоей шее». Сергей Ипполитович виновато разводил руками, целовал супругу в щечку и покаянно обещал, что исправится. Но за работой и бесконечными хлопотами на своей мельнице он сразу же и забывал об этом обещании. Сегодня Сергей Ипполитович еще ночью уехал на железнодорожную станцию, куда должны были прибыть какие-то вальцевые машины, и поэтому Любовь Алексеевна с дочерью завтракали вдвоем. С нынешней осени семья Шалагиных уменьшилась, потому как старшие сыновья, близнецы Кеша и Тимофей, были отправлены в Москву, на учебу в коммерческое училище, но мамочка к этому обстоятельству никак не могла привыкнуть, и ей каждое утро казалось, что сыновья просто проспали и надо их будить.

– Прикажете чай подавать? – Фрося смущенно теребила белый передник, круто оттопыренный дородной грудью, и украдкой поглядывала на Тонечку, которая продолжала вылавливать ложкой лук и выкладывая его на края тарелки.

– Подавай, голубушка, подавай, а то мы никуда не успеем, если в тарелке рыбачить будем, – Любовь Алексеевна строго посмотрела на Тонечку и добавила: – И не смущайся, Фрося, суп замечательный, просто у некоторых девиц, которым взрослеть пора, остались детские капризы.

Фросю наняли неделю назад, взамен прежней горничной, которая вышла замуж, наняли по рекомендации лучшей маменькиной подруги, Зои Петровны Хлебниковой, владелицы небольшой пошивочной. Зоя Петровна не только обшивала новониколаевских дам, но и занималась для души еще множеством дел: рекомендовала прислугу, подыскивала женихов и невест, даже являлась тайной поверенной в некоторых любовных связях, о которых не принято было говорить, но о которых все знали. Вот с ее легкой руки и появилась Фрося в шалагинском доме. Привезли ее из соседней Колывани, где она, сирота, воспитывалась у дяди. Перемещение на новое место и в новую обстановку так озадачило девушку, что она терялась, краснела чуть не до слез по любому пустяшному поводу, и видно было, что боялась больше всего чем-нибудь не угодить хозяевам. Любовь Алексеевна старалась ободрить ее и относилась к Фросе подчеркнуто ласково. А Сергей Ипполитович, отведав ее рыбного пирога с нельмой, и вовсе пришел в восторг, весь день повторял: «На Оби вырос, а такого пирожка сроду не пробовал!» Словом, хозяева приняли Фросю, а вот с Тонечкой не заладилось. Не нравилась молодой барышне новая горничная. Не нравилась – и все тут, хоть тресни! При любом удобном случае Тонечка капризно складывала губки бантиком, вздыхала, делая при этом круглые глаза, и показывала всем своим видом, что она лишь из вежливости ничего не говорит, а просто терпит эту неотесанную и неловкую деревенскую девицу.

– В чем дело, – строго допрашивала дочь Любовь Алексеевна, – почему ты относишься к Фросе с пренебрежением?

– Мамочка! О чем ты? – искренне возмущалась Тонечка. – Я не понимаю! Я отношусь к ней так же, как относилась к нашей горничной Маше.

Так да не так!

И зря спрашивала мамочка, потому что Тонечка и под страшной пыткой не призналась бы в истинной причине нерасположения к Фросе. Все дело в том, что с уходом Маши она лишилась трепетного обожания. Прежняя горничная, по-мужичьи широкая в плечах, с

плоским конопатым лицом и жиденькими волосами, простодушно восхищалась красотой молодой барышни, говорила: «Какая вы красавица, Антонина Сергеевна, прямо виноградинка, не то что я, уродина». – «Да какая же ты уродина, ты симпатичная девушка», – фальшиво успокаивала ее Тонечка и дарила ей свои старые платья. А оставшись одна в комнате, подолгу глядела на себя в зеркало и, вдоволь налюбовавшись, напевала: «Прямо виноградинка, прямо виноградинка...» И вот Маши не стало, а вместо нее появилась Фрося. Когда Тонечка увидела ее в первый раз, то невольно про себя подумала: «Вот уж кто виноградинка!» Фрося действительно была красавицей. Даже Сергей Ипполитович как-то сказал супруге: «Это надо же – какие чудные цветы на колыванском назъме произрастают!»

Глупо, конечно, и недостойно завидовать чужой красоте, но Тонечка ничего не могла с собой поделать. Сейчас, допивая чай, она старалась на горничную не смотреть, а думать о приятном – о поездке в пошивочную к Зое Петровне, ради чего и пришлось сегодня подниматься в такую рань. Дело в том, что после обеда Зоя Петровна собиралась уезжать к своим родственникам в Каинск и попросила прибыть утром, чтобы в последний раз примерить уже готовое платье, заказанное специально к сегодняшнему балу, который начнется в семь часов вечера в Торговом корпусе. Бал был приурочен к рождественским каникулам и проводился с благотворительными целями силами мужской и первой женской гимназии. Тонечка училась в старшем восьмом классе, и вот уже второй год классная дама поручала ей вместе с подругой, Олей Королевой, отвечать за продажу билетов и за благотворительную торговлю на балу. Вчера они ездили продавать билеты в Офицерское собрание, и там к ним подошли два молодых прапорщика, весело представились: Максим Кривицкий и Александр Прокошин. Стройные, в блестящих сапогах, в скрипящих портупях, натуго перетянутые ремнями в талиях, они почему-то показались Тонечке игрушечными солдатиками, которыми любили играть ее старшие братья. Поэтому она заулыбалась, глядя на них. А прапорщики перемигнулись заговорщицки и спросили – сколько у них билетов. Билетов, специально отпечатанных в типографии господина Литвинова и предназначенных для Офицерского собрания, было тридцать штук.

– Девушки, хотите, мы вас освободим от этого скучного занятия? – предложил Максим Кривицкий.

– И совершенно бескорыстно, – добавил Александр Прокошин, но кинул взгляд на друга и рассмеялся: – Отставить! Скажем так: почти бескорыстно.

– Вы что, господа офицеры, хотите забрать у нас выручку? – Ольга сделала круглые глаза, как умела она делать, изображая ужасный испуг, и потянула Тонечку за рукав: – Бежим, они хотят нас ограбить!

Тонечке очень нравилась эта словесная игра, волнующая и необычная, и она не замедлила с замирающей радостью в нее включиться:

– Нет, Оля, грабить они нас будут, когда продадим все билеты, им же деньги нужны. А зачем вам, господа офицеры, нужны деньги – на кинематограф или на мороженое?

– Ой, и глупая ты, Тоня, разве не видишь – средств им не хватает на ресторан Индорина, на шустовский коньяк на рябине и на шампанское со льдом.

Прапорщики переглянулись и раскатились молодым и довольным смехом. Им тоже нравилась словесная игра.

– Единственное, что движет нами, – это чувство исключительного человеколюбия, – Максим театрально приложил руку к сердцу, и Тонечка вдруг разглядела, что глаза у него – карие, с неуловимой искоркой.

– Да, да, совершенно точно, – поддержал своего товарища Александр, – исключительное человеколюбие. Мы покупаем сейчас у вас все тридцать билетов, но...

– Но! – поднял вверх указательный палец Максим. – У нас одно ма-а-а-ленькое условие: весь вечер вы будете танцевать только с нами. А всем остальным – отказывать.

Подружки озадаченно переглянулись и, не сговариваясь, дружно кивнули.

Сейчас Тонечка заново переживала это неожиданное знакомство, ей было приятно его вспоминать, и она сразу забыла о том, что пришлось рано вставать, забыла о противном жареном луке, и даже Фросю она удостоила после завтрака мимолетной улыбкой.

Пора было выезжать.

Каурый жеребчик Бойкий, запряженный в легкие санки, вразнобой постукивал у крыльца копытами, раскидывая снег, а кучер Филипыч, расправляя вожжи, незлобиво строжился:

– Да стой ты, холера ясная, удержу на тебя нет! Погоди, побегим – упаришься...

Филипыч всегда и на всех ворчал: на жеребчика, на встречных и поперечных, на погоду, на дорогу, на хозяев, которые на его воркотню лишь улыбались, потому как прекрасно знали, что кучер у них – человек надежный и шалагинской семье бесконечно преданный.

– Доброе утро, Филипыч! – крикнула Тонечка, сбегая с высокого крыльца и сияя глазами. Она радовалась морозцу, солнцу, которое приподнималось над крышами, радовалась самой себе и поэтому не удержалась и рассыпала звонкий смех.

Филипыч покосился на нее строгим взглядом, шмыгнул широким, приплюснутым носом и забубнил:

– Доброе-то доброе, а ты кого вырядилась? Форс морозу не боится – так, что ли? Застынешь, пока едем.

– Ты о чем, Филипыч? На мне же шубка! – Тонечка приподняла пушисто отороченные полы беличьей шубки и крутнулась перед Филипычем. – Она же теплая!

– А ботиночки? – невозмутимо и ворчливо отвечал ей Филипыч. – Обула бы валенки – вот ладно. А так застынешь.

– Ну не за сто же верст мы поедем.

– А все равно! Ладно, садись, егоза, я тебя укутаю.

Филипыч старательно обернул ноги Тонечке волчьей полстью, взгромоздился, по-стариковски кряхтя, на облучок и, дождавшись Любовь Алексеевну, тихонько понужнул Бойкого:

– Н-но, милый! Вот теперь взбрыкивай...

4

Дом у Шалагиных стоял на Каинской улице, и по ней легкие санки выскочили к собору Святого благоверного князя Александра Невского. Его купол, похожий на шлем древнего воина, золотисто светился под первыми лучами встающего солнца, вздымался величественно над всей округой, открывая картину Сосновского сада, где летом любили гулять горожане, белой, спрятанной под лед Оби и железных кружев железнодорожного моста через реку, по которому весело стучал колесами поезд, обозначая свой ход черным дымом из паровозной трубы.

Морозное хрусткое, бодрящее утро занималось над молодым городом.

На колокольне храма звонко ударил колокол к заутрене, и его медный голос легко пронзил стылый воздух, раскатываясь по всей округе. Бойкий уже выносил санки на Николаевский проспект – самую прямую и широкую городскую улицу, и Филипыч, слегка поворачивая голову, поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же опустил ее, судорожно хватаясь за вожжи. Вскочил с облучка, уперся ногой в передок саней, потянул коня вправо, замедляя его скорый бег и заставляя прижаться к обочине проспекта. Бойкий останавливаться не желал, норовисто вскидывал голову, но Филипыч с такой силой потянул вожжу на себя, что конь подчинился, переходя на шаг. Санки приткнулись к самому краешку.

А сзади уже слышно было, как накатывает глухой топот. С десяток конных полицейских, без усталости работая плетками, рассыпались полукругом и неслись во весь опор, безуспешно пытаясь догнать далеко оторвавшегося от них передового всадника. Был этим всадником сам полицмейстер Гречман. Низко пригнувшись к рыжей гриве коня, он свирепо раздувал пшеничные усы и скалился, будто смеялся. Летучими облачками вздымался над лошадьми и над всадниками белесый пар.

Простукотили, пролетели, скрылись из глаз, свернув куда-то в сторону за Базарной площадью.

– Не на тройке седни гарцует, – удивился Филипыч, – верхом летит. Не иначе кого зарезали, прости меня, Господи, – он запоздало перекрестился, обернувшись к храму, понужнул Бойкого, и тот понесся вверх по Николаевскому проспекту, радуясь, что его не сдерживают.

Миновали Базарную площадь, где уже всюду копошился торговый народ и первые, самые ранние, покупатели, свернули на Ядринцевскую улицу, и вот он – ладный, опрятный, как сама хозяйка, двухэтажный домик Зои Петровны, увенчанный на крыше флюгером в виде петуха, вырезанного из жести и покрашенного в голубой цвет. Сейчас, в безветрии, петух с гордо вздернутой головой и большим распушенным хвостом, больше похожим на павлиний, был неподвижен и строго смотрел на старое кладбище, словно хотел разглядеть что-то такое, что ведомо было лишь ему одному.

Зоя Петровна, маленькая, кругленькая, пышная, как свежая сдобная булочка, давно уже была на ногах и гостей встретила у порога.

– Поднимайтесь наверх, миленькие, – радушно повела она пухлой ручкой, указывая на лестницу, – тут у меня еще никто не шевелится...

На первом этаже, где размещалась пошивочная и стояли раскройные столы и швейные машины «Зингер», действительно никого из работниц еще не было. Поэтому Зоя Петровна и приглашала гостей наверх, где она проживала вместе с прислугой, двумя дымчатыми котами и ученым скворцом в клетке, знавшим три слова: «свисти», «жулик» и «хана». Причем выговаривал он их все одним разом и получалось, что подает сигнал тревоги, после чего, довольный, рассыпался задорными трелями.

В просторном зале могуче вымахивали из деревянных кадок два фикуса, а на окнах тесно стояли горшочки с геранью, мимо которых бродили по широкому подоконнику важнейшие коты, блестя дымчатой, словно отполированной, шерстью. При появлении хозяйки они тут же спрыгнули на пол и затеяли кутерьму, путаясь под ногами. Зоя Петровна, едва не запинаясь об них, взяла со спинки стула готовое платье, перенесла его на диван, расправила пышные складки и, отойдя, полюбовалась.

– Примеряй, Тонечка, красоту неопишемую. Глянула еще вчера – прямо душа радуется.

Когда Тонечка надела платье и бантом завязала широкий розовый пояс, Зоя Петровна даже в ладошки шлепнула:

– Ангел, чистый ангел! А ну-ка, повернись... Любовь Алексеевна, вы только гляньте!

Тонечка в новом платье и впрямь была хороша. Румяная с морозца, прямо-таки воздушная в розовой материи, она казалась легкой и невесомой, будто пушинка: вот дунет сейчас ветерок, поднимет ее над полом и унесет через распахнутую форточку в зимнюю дымку за окном. Даже Любовь Алексеевна не удержалась и улыбнулась, глядя на дочь.

Платье упаковали в картонную коробку, перевязали тонкой ленточкой, но сразу отпустить гостей Зоя Петровна не пожелала. Не слушая возражений, велела горничной подать чай, и все расположились за большим круглым столом в зале. Тонечка из вежливости чуть отхлебнула из тонкой фарфоровой чашки и принялась играть с котами, а дамы занялись обсуждением местных новостей. Впрочем, больше говорила Зоя Петровна, а Любовь Алексеевна лишь слушала да изредка вставляла несколько слов.

– Представляете, голубушка, вчера ко мне пришла заказывать летние платья для дочерей мадам Чукуева, пришла – и ни слова извинений. Я ей, конечно, ничего напоминать не стала, и мерку с девочек сняла, и платья сошью, но... у меня просто слов нет... – Зоя Петровна и впрямь как будто задохнулась от возмущения, но тут же выправились и продолжила: – Но когда платья будут готовы, я ей вот эту газетку обязательно в коробку положу и статейку красным карандашом обведу. Пусть она поймет мой намек... Меня все общество в городе знает, а она так заявляла обо мне, непозволительно...

– Зоя Петровна, дорогая, да не принимайте близко к сердцу.

– Как же не принимать, моя миленькая, у меня же приличные люди заказы делают, мне было неловко им в глаза смотреть...

– Пустое! Мы же вас не первый год знаем!

Но Зоя Петровна успокоиться никак не могла и все говорила и говорила о мадам Чукуевой, которая отказалась некоторое время назад от ее услуг и стала сообщать всем знакомым дамам, что в город прибыл первоклассный портной, знающий парижскую моду и готов обучать кройке по самым передовым методам, и что пошивочную госпожи Хлебниковой теперь можно закрывать за ненадобностью, тем более что она берет дорого и шьет по старинке, не учитывая современной моды. Зоя Петровна оскорблена была до глубины души. Но скоро на ее оскорбленную душу местная газетка «Алтайское дело» пролила бальзам, напечатав заметку под заголовком: «Обучение кройке». Сейчас, заново переживая прошлые страсти, Зоя Петровна не удержалась, достала газету из шкафа и прочитала заметку Шалагиным, искренне забыв, что она ее уже читала в прошлый раз:

– «Объявился в городе некто Андреев. Человек предприимчивый, он вместе со своим компаньоном Адольфом Щука организовал занятия по обучению кройке и расклеил об этом по заборам зазывательные „варшавского“ пошиба афишки. Судя по афишкам, благодетельствовать желает Андреев жителей города, особенно „дам и барышень“, обещает в самое короткое время обучить по методам дрезденской, берлинской и парижской академий, а также собственной системе кройки дамского и детского, как верхнего, так и нижнего платья. Вся эта премудрость преподается за 10 рублей. Доверчивые обывательницы дружно понесли Андрееву свои „красненькие“. В чем заключается метода парижских и других академий – не знаем, а про андреевскую систему обратившиеся к нам с жалобой рассказывают следующее. Цель этой системы – побольше вытянуть у доверчивых людей денег... Порядки в школе Андреева возмутительные, оба „учителя“, зачастую пьяные, обращаются с ученицами кройки бесцеремонно, в выражениях не стесняются, а примерку производят таким образом, что от их „приемов“ краснеют не только девицы, но и дамы...»

– Вот все и выяснилось, – Любовь Алексеевна снова попыталась успокоить Зою Петровну, но та успокаиваться никак не желала:

– Я не удержусь, я все-таки выскажу ей. И газету положу, и выскажу. Вот приедет за платьями... Ой, кто-то звонит. Глаша, открой, кто там?

Оказалось, что раньше мадам Чукуевой заявился ее супруг – пристав Закаменской части Ново-Николаевска. Тучный, запыхавшийся, Модест Федорович прогрохотал мерзлыми сапогами по полу, вошел в зал и, забыв поздороваться, развернул газетный сверток, встряхнул перед собой мятое, изорванное платье.

– Извиняюсь, что потревожил – служба-с. Зоя Петровна, глянь на этот наряд. Не ты его шила? А если ты – вспомни, кому...

Зоя Петровна испуганно подошла к Чукуеву, осторожно, двумя пальчиками, взяла за подол платье и тут же отдернула руку, будто обожглась:

– Ой, ужас, оно же в крови!

– Ну, ясно дело – не в варенье. Иначе бы не приехал. Гляньте внимательней: может, признаете?

Зоя Петровна, беспомощно оглядываясь на Любовь Алексеевну, будто искала у нее сочувствия, со страхом осмотрела платье, вытерла пухлые руки платочком, сказала:

– Нет, Модест Федорович, это не моя работа.

– Тогда чья?

– Не знаю.

– Ясно, – Чукеев скомкал платье и завернул его в газету.

– А что случилось? Откуда оно? – не удержалась и спросила Зоя Петровна.

– А вам лучше не знать – крепче спать будете. Извиняйте.

Чукеев круто развернулся и захохотал сапогами вниз по лестнице, оставив дам в полном недоумении.

5

Высокое, в рост, зеркало в деревянной оправе – вдребезги. Рюмки, фужеры и тарелки из посудного шкафа – в крошево. Сам шкаф расхлестан и вывернут чуть не наизнанку, осыпан, словно бисером, стеклянными осколками. На полу – расколота ваза, вышитые салфетки, фарфоровые зверушки, сброшенные с комода, отодвинутого от стены и поставленного на попа. Дальше, на грязной, завазганной половице – тоненькая ленточка засохшей крови с прилипшими к ней пушинками из разодранной подушки. Тянется ленточка к худенькому скрюченному человеку, ничком лежащему возле стены. Это – акцизный чиновник Бархатов. На нем просторные шелковые подштанники, изорванные и в кровавых пятнах, такая же рубашка, расплосованная на спине от воротника до пояса, а на голове – самокрутка, страшное изобретение диких азиатских племен: в веревочную петлю, натянутую на голову несчастной жертвы, вставляется крепкая палка, и палку эту начинают жестоко крутить. Трещит череп, глаза вылезают из орбит – человек после такой самокрутки уже не жилец.

И Бархатов был мертв.

Посреди разоренной комнаты стоял пуфик с зеленым верхом, и на нем сидел, оперев руки в колени, полицмейстер Гречман. Топорщил усы, показывая широкие обкуренные зубы, и смотрел, не отрывая глаз, в низ стены, туда, где ее закрывал раньше громоздкий комод. Голубенькие, с золотым проблеском обои сохранились здесь лучше, чем на остальной стене, совсем не выцвели и сияли, как большая прямоугольная заплата. У самого низа, у плинтуса, обои были сорваны и виделась толстая металлическая дверца, открытая настежь, а за ней – блестящее, из хорошей стали нутро небольшого тайника. В тайнике – пусто.

Гречман с трудом оторвал взгляд, поглядел на мертвого Бархатова, не удержался и выругался, словно сплюнул:

– Слизняк, сволочь мокрогубая...

И шаркнул подошвой сапога по полу, будто растер плевков.

Двери за спиной у него скрипнули, и Гречман, не оборачиваясь, рыкнул:

– Ну?! Чего?!

– Господин полицмейстер, там газетер из «Алтайского дела», просится на место происшествия, чтобы пропечатать...

– В шею! В шею его гони, Балабанов, так гони, чтоб кувырчался! Сволочи! Лишь бы растрезвонить! – Гречман тяжело поднялся с пуфика, закурил папиросу и уже спокойно, поделовому спросил: – Чукеев не вернулся?

– Никак нет, господин полицмейстер, еще не вернулись, – Балабанов, двадцатидвухлетний парень, недавно принятый на службу в полицию, тянулся перед начальством, беспрепятственно отдавал честь, и круглое краснощекое лицо его, похожее на наливное яблоко, являло собой настоящий образец самого ревностного отношения к делу.

Четко сделав «кругом арш!», так что взвихрились полы шинели, Балабанов вышел, а Гречман, снова оставшись один, еще раз глянул на пустой тайник, на покойного, в две затяжки допалил папиросу, оглянулся – куда бы пристроить окурочек? – и, не найдя подходящего места, бросил на пол и растер сапогом. Все равно осмотр уже провели, вынюхали и проверили все щелки и закутки в доме, но ничего, кроме рваного бабьего платья, не обнаружили. Одна-разъединственная зацепка, да и та жиденская. Соседи из близлежащих домов ничего толкового сказать не могли: «Не видели, не слышали». Вот и топорщил усы Гречман, вот и рычал на своих подчиненных, пытаюсь задавить в груди противный, сосущий холодок, причину которого знал только он сам: в тайнике акцизного чиновника Бархатова лежали бумаги, представлявшие для полицмейстера смертельную опасность. Кто их украл и как употребит?

Ответа даже и не маячило.

Гречман ближе подошел к убитому, покачался над ним с носков на пятки и высказал: – А все-таки говнюк ты, братец, не мог утаить. Так и так бы пришибли, молчал бы...

Но Бархатов под страшной пыткой не пожелал молчать, указал тайник и тем самым обрек полицмейстера на великие тревоги. Гречман нутром чуял, что над ним сгущаются тучи; ползучий страх ознобом проскакивал по коже, и казалось, что вот сейчас, сию минуту, грянет непоправимое.

Вдруг сзади раздался осторожный, вкрадчивый шорох. Гречман с непостижимой быстротой выдернул револьвер из кобуры, развернулся на согнутых пружинистых ногах, оборачиваясь к углу, из которого доносился шорох. Но там никого не было. Он шагнул вперед и за поваленным креслом увидел мыш, быстро-быстро скребущую лапками по мятому листку бумаги.

– Тьфу, тварь! – Гречман топнул ногой, и мыш бесшумно скользнула в щель под плинтусом.

«Этак меня надолго не хватит, если от каждого куста шараться, – подумал Гречман и заставил себя успокоиться. – Главное – виду не показывать. Бог не выдаст, а свинья – подавится. Поживем еще, потопчемся...»

Протопал к двери, распахнул ее, крикнул:

– Балабанов!

– Я, господин полицмейстер!

– Чукеев не вернулся?

– Никак нет! Погодите, погодите, господин полицмейстер, вот, кажется... Ага, точно, он едет!

Через несколько минут грузный Чукеев, тяжело отпыхиваясь, ввалился в дом, положил газетный сверток на зеленую макушку пуфика и доложил:

– Пусто. Все пошивочные объехал – никто платье не признал. Правда, тут вроде как свидетель объявился... Прикажете позвать?

– Какой еще свидетель? Ладно, давай!

Чукеев вышел на крыльцо и скоро вернулся, толкая перед собой в спину невзрачного мужичка с синюшным опойным лицом. Мужичок вздрагивал и озирался, как в лесу.

– Кто таков?

– Ланшаков я, Илья Пантелеич, пимокат.

– Рассказывай, что видел?

– Да шибко-то я ничего особенного не видел... Только вот ночью-то мимо шаршился, из гостей, ну, ясно дело – тяжелый, раз из гостей...

– Вижу, что тяжелый, – властно прервал его Гречман, – прет от тебя, как из бочки. По делу говори – чего видел?

– Как дотепал до этого домика, гля – что за оказия?! Баба мне голая навстречу! А снежок падат; думаю, может, блазнится, глаза протер – вправду баба. Только не совсем голая, рубашонка на ей и пимишки, и волосы вот так, раскосмачены. Молчком шмыганула мимо, я встал, вслед гляжу, а она чешет и чешет, только космы встряхиваются. Далеко уж отбежала, а тут тройка из-за угла выскакиват, тройка – звери, прямо огонь из ноздрей пышет, еле остановилась. Остановилась, значит, а бабенка в кошевку – прыг, только я их всех и видел.

– А кони какой масти были?

– Я ж говорил – снежок падал, да и темно, шибко не разглядишь; но сдается мне – гнедые лошадки.

– Какие?

– Гнедые.

Гречман насупился и крякнул: час от часу не легче!

6

Тетрадь в голубом сафьяновом переплете Сергей Ипполитович подарил дочери на день рождения два года назад. И тогда же Тонечка начала вести дневник, перекладывая на бумагу самые сокровенные тайны вперемешку со стихами – конечно же о любви. Последняя запись была сделана вчера вечером и столь торопливо, что на гладкой разлинованной бумаге остались две кляксы, похожие на неведомых жучков. Они словно ползли навстречу друг дружке по тетрадному листу и дивились написанному:

«Господи, даже не знаю, как все описать. В голове у меня сплошной сумбур, а сама я еще танцую, танцую и никак не могу остановиться. (Тут сияла первая клякса.) Даже мысли не могу собрать. Попробую написать по порядку. В Торговый корпус мы пришли с Ольгой за час до бала, как нам велела классная дама; лотки с мороженым уже были там. Ольге отвели место у входа в зал, а мне – в самом зале, недалеко от оркестра. Мы переобулись в туфли, причесались и, как только появились первые господа и дамы, стали предлагать мороженое. Все были веселые, нарядные, меня хвалили, даже говорили комплименты, а многие совсем не брали сдачу. У меня у первой раскупили мороженое, и, как только заиграл оркестр, я уже была свободна, передав деньги классной даме. Все это время думала я про наших новых знакомых, господах прапорщиках, и удивлялась: почему их нет? И когда заиграл оркестр, а они все не появлялись, мне стало грустно, так грустно, будто меня обманули. Затем я решила, что мне совершенно безразличны эти невоспитанные прапорщики, и я пошла помочь Ольге. Но оказалось, что она тоже все мороженое продала и они уже с классной дамой пересчитывали деньги. Оркестр между тем заиграл мазурку, мы с Ольгой взяли за руки и направились в зал, но тут нас окликнули, мы оглянулись и увидели Максима Кривицкого. С ним был и Александр Прокошин. Они стали извиняться за опоздание, ссылаясь на службу, а я поначалу даже не хотела с ними разговаривать, но Ольга начала смеяться без всякой причины, я тоже рассмеялась, и мы пошли танцевать. (Здесь фиолетово светилась еще одна клякса.) Весь вечер Максим не отходил от меня, приглашая на каждый танец. Наши девушки, глядя на нас, иззавидовались, хотя и старались не показать виду. Мы с Максимом все время о чем-то разговаривали, но о чем – я сейчас и не вспомню. В глазах все еще переливаются люстры ярким светом, а я танцую, танцую... Боже мой, неужели я влюбилась?»

Тетрадь с вечера осталась открытой, ручка торчала в чернильном приборе, и здесь же, на столе, лежал широкий пояс нового платья, который Тонечка забыла повесить в шкаф. За высоким окном уже поднялось солнце, и косые лучи, проскакивая через стекло, там, где оно не было затянато изморозью, ложились светлыми полосами на пол, на подушку и на выступающий бок печки, обложенный красивыми изразцами. Тепло, уютно было в маленькой комнатке Тонечки Шалагиной, и хозяйка, проснувшись, выпростала тонкие руки из-под

пухового одеяла, потянулась всласть, а после долго лежала, глядя широко открытыми глазами в потолок и счастливо улыбаясь. В памяти у Тонечки продолжала звучать со вчерашнего вечера бойкая мазурка, и ей казалось, что она еще танцует, а напротив вспыхивают веселыми искорками карие глаза Максима Кривицкого.

– Господи, как хорошо! – вслух произнесла она и рассмеялась, а уже в следующее мгновение с ужасом прихлопнула рот ладошкой и, съезжившись, потянула другой рукой на себя край одеяла. Хотела закричать, но голос пропал, дыхание пресеклось и в груди все заглодало, будто она проглотила ледышку.

В проеме бесшумно открывшихся дверей стоял высокий бородатый человек в нагольном полушубке, держал в руках валенки и быстрым рысьим взглядом окидывал комнатку, переступая на половице босыми ногами. Не выпуская валенок, он прикрыл за собой двери, сделал несколько шагов, оказавшись на середине комнатки, и неслышно опустился на колени, прижимая руку к груди. Шепотом выговорил:

– Барышня, родненькая, не губи, ради Христа. Пожалей. Не выдавай меня, я худого ничего не сделаю. Поимей милость, барышня...

За дверями зашумели голоса; человек, не вставая с коленей, быстро подполз к самому изголовью, распластался на полу и беззвучно скользнул под кровать. Уже оттуда, снизу, успел шепнуть:

– Христом-Богом молю, барышня, не выдай...

Дверь распахнулась. Разгневанная, в красных пятнах на лице, Любовь Алексеевна громко чеканила:

– И здесь можете осмотреть, но только учтите – так просто вам это не пройдет!

Из-за ее плеча выглянул смущенный Балабанов, оглядел комнату и доложил:

– Никого-с...

– Да не мог же он сквозь землю провалиться! – сердито пыхтел Чукуев. – Я же своими глазами видел! В дом он заскочил!

– Это вы будете обсуждать на улице, – прервала их Любовь Алексеевна, – кто куда заскочил и кому что померещилось. Прошу удалиться!

– Мамочка, что случилось? – у Тонечки неожиданно прорезался совершенно спокойный голос.

– Ничего, спи, – Любовь Алексеевна властной рукой закрыла дверь, и стали слышны тяжелые удаляющиеся шаги.

Тихо было в комнатке, так тихо, что Тонечка, повернув голову, услышала шорох собственных волос. Все случившееся казалось ей коротким сном, она не удержалась и ущипнула себя за руку – нет, не сон, явь, самая настоящая. Испуг прошел, и ей даже стало интересно – что же все-таки произошло? Почему в доме оказался этот странный человек и полицейские?

– Век не забуду твоей доброты, барышня, – донесся шепот из-под кровати, – помирать буду – вспомню. Спаси Бог тебя.

Беззвучно, как и заскользнул, человек выбрался из укрытия, выпрямился во весь свой высокий рост, и Тонечка внимательно его разглядела. Кудрявая русая бородка обрамляла молодое лицо; зеленоватые, как у рыси, глаза смотрели прямо, а по-девичьи яркие губы чуть заметно улыбались. Во всей гибкой фигуре было что-то сильное, хищное.

– Вы кто? – не удержалась и спросила Тонечка.

– Вольный человек я, барышня, а оказался здесь по недоразумению. Случай такой выпал, нехороший. Благодарствую вам от всего сердца, спасли меня. Теперь бы вот только выбраться... – он кинул стремительный взгляд: – Придется вам, барышня, окошко попортить.

И махом распечатал окно, заделанное на зиму, открыл одну створку, глянул вниз и стал обуваться. Уже уперся руками в подоконник, чтобы выпрыгнуть наружу, но в последний

момент замедлился, замер и вдруг, резко обернувшись, двинулся к кровати. Тонечка даже не успела уклониться – так он стремительно нагнулся и крепко ее поцеловал. Она задыхнулась от неожиданности, а человек уже стоял на подоконнике и оттуда, не оборачиваясь, произнес:

– Василий меня зовут, а прозвище – Конь. Прощай, барышня!

Прыгнул вниз, в высокий сугроб, наметенный между стеной и брандмауэром, и сразу же – словно растворился. Когда Тонечка подбежала к окну, чтобы закрыть створку, она увидела внизу только неглубокие выемки в пухлом снегу, потому как следы от валенок были замечены полами полушубка.

7

Вася-Конь обогнул брандмауэр, заметая следы скинутым полушубком, у глухой стены присел на корточки, привалился спиной к холодным кирпичам и по-звериному настороженно огляделся. Втянул тонкими ноздрями морозный воздух, словно принюхивался, убедился, что полицейские отъехали, и, накинув полушубок, рывком выскочил из укрытия. Пулей пересек улицу, с разгону, одним прыжком, одолел чей-то высокий забор, оказался на просторном дворе и махом взобрался по лестнице на сеновал. Зарылся в углу, навалив на себя сверху большущий пласт сухого разнотравья, пахучего даже в мороз, и затаился, как мышь в подполье, решив переждать здесь до темноты. При всей своей лихой дерзости он понимал, что не следует два раза испытывать судьбу за одно утро. Удача частой не бывает – это он знал твердо. Натянул воротник полушубка, закрывая лицо от щекочущего сена, вытянулся, удобней устраиваясь на мягком ложе, и сразу забыл о полицейских, о недавней погоне – обо всем забыл, кроме одного: стояло перед глазами розовое после сна лицо барышни, а на губах, не истаивая, горел вкус сладкого поцелуя. И еще нежный, перехватывающий дыхание, запах девичьего тела, угревшегося под одеялом, не исчезал из памяти. За недолгую, двадцатидвухлетнюю, жизнь у Васи-Коня ничего подобного не случилось, а сегодня – будто полыхнул внезапный высверк неведомого света, ослепил и переполнил душу до самого краешка.

На дворе послышались шаги, кашель, недовольный мужской голос:

– Клавка, выгони корову в денник и сена дай! Да напоить не забудь в обед! Все, я пошел, глядите тут у меня, чтоб все в порядке было!

Стукнуло железное кольцо калитки, затем тягуче скрипнула дверь скотного двора, промычала корова, проходя в денник, и там, на новом месте, принялась тяжело вздыхать, будто кому жаловалась на жизнь.

Денник был рядом с сеновалом, разделяла их всего лишь дощатая стена, и Вася-Конь хорошо слышал не только коровьи вздохи, но даже легкий скрип снега, когда скотина переступала с ноги на ногу. Под эти негромкие, убаюкивающие звуки он задремал, но и во сне продолжал ощущать вкус сладкого поцелуя на своих губах и неподдельно изумлялся: «Надо же, как тавро прикипело!»

Иногда тонкая нить дремоты обрывалась, он тревожно вслушивался – все ли спокойно? – плотнее натягивал воротник полушубка и снова окунался в зыбкое, сонное течение, не переставая удивляться: «Жил, жил и никогда такой сладости не ведал. Уж не приворожила ли?» Спрашивал самого себя, ответа не находил, а поцелуй на губах продолжал гореть, словно и впрямь припечатан был раскаленным железом.

К вечеру прижал мороз, пласт сена уже не спасал, и Вася-Конь, вздрагивая от стужи, выбрался наружу, подрыгал затекшими ногами, разгоняя кровь, и неслышно соскользнул по лестнице с сеновала. Выбрался на улицу, полюбовался издали на узкое высокое окно, из которого выпрыгивал утром, и незнакомая, неизвестная ему раньше тоска зацепилась за сердце, как заноза. Окно в фиолетовых сумерках светилось уютно и ярко, манило к себе, но Вася-Конь заставил себя отвернуться, нахлобучил шапку на самые глаза, угнулся, прячась в

поднятый воротник полушубка, и двинулся легким, скользящим шагом по улице, поближе прижимаясь к высоким заборам.

На берегу Каменки, на отшибе от остальных домов, стояла, завалившись на один бок, низенькая избушка с плоской крышей и одноглазо смотрела в наползающую ночь тусклым кривым окошком. Ни ограды, ни мало-мальского заборчика возле избушки не было, и сугробы подпирали ее под самую крышу. Вася-Конь взобрался на один из них, шлепнулся на задницу и скатился по накатанной дорожке прямо к дверям. Не поднимаясь, ногой постучал по расхлябанным доскам, и они отозвались таким грохотом, будто имели собственные лязгающие голоса. Дверь сразу же распахнулась, из темного нутра пригласили:

– Вползай, кого Бог послал.

Вася-Конь поднялся на четвереньки, скользнул в узкую щель сеней и уже через вторые двери, обитые рваным войлоком, попал в самую избушку.

– Прихлопни крепче. И крючок накинь. Никак ты, Василий?

– Я, Калина Панкратыч, я.

– Погоди, свечку новую запалю. Ох, Василий, не ко времени ты заехал, не ко времени...

– А чего так?

– Да уж вот так – ищут тебя везде по городу. И ко мне наведывались, могут и вдругорядь заглянуть.

Калина Панкратыч нашарил спички, зажег свечку и завесил кривое окошко старой шалью, почиканной молью. Тонкий язычок свечки разгорелся, окреп, и внутренность избушки проявилась из потемок: большая печка, давно не беленная, голый дощатый стол, две старые табуретки, сколоченные из толстых плах, и широкий топчан, застеленный засаленной до блеска кошмой. Хозяин этих хором, Калина Панкратыч, маленький, худой, сморщенный, как печеная картобочка, шустро постукивал деревяшкой – левую ногу выше колена оставил на японской войне – и сновал от печки к столу, на котором мгновенно, как на скатерти-самобранке, нарисовались чугуны с лапшой, кусок соленого сала, цельная коврига хлеба и кривой нож, насаженный на толстую деревянную ручку.

– Садись, хлебай, – пригласил хозяин. Сам присел на топчан, раскурил маленькую трубочку и долго кашлял, вытирая слезы. Прокашлявшись, заговорил:

– После обеда сам Гречман ко мне нагрянул. Думал, избушку перевернет. Вынь ему да положи Васю-Коня. А я где возьму? Знать не знаю и ведать не ведаю. Шибко грозился, аж ногами топал. Усы торчком и зубы на оскал, того гляди укусит. Ты, Василий, какие фортели в этот раз выкинул?

Вася-Конь долго не отвечал, занятый едой. Только сейчас почувал, что страшно проголодался, да и не мудрено: с прошлого вечера маковой росинки во рту не было. Калина Панкратыч не торопил гостя с ответом, посасывал свою трубочку и терпеливо ждал.

Они не первый день знали друг друга и понимали друг друга с полуслова. А завязалась в крепкий узелок странная дружба конокрада Васи-Коня и старого солдата, бобыля Калины Панкратыча, три года назад, при обстоятельствах, страшных и потешных одновременно. Тогда, три года назад, Калина Панкратыч держал лошаденку и перебивался разовыми заработками, сшибая скудную копейку то на перевозке досок от лесозавода, то кирпич возил на строительства, то товары лавочникам на базар – какая работа подворачивалась, за ту и хватался. А по зиме предложили ему знакомые мужики в подряд вступить: доставлять вино с винзавода до Чулыма – это на другом берегу Оби, не так уж и далеко от Ново-Николаевска. Долго не думал, сразу и согласился: зимой спросу на возчиков никакого нет, а жить надо. Вот и стал курсировать вместе с четырьмя такими же бедолагами от города до Чулыма с полными бутылками, а из Чулыма до города – с пустыми.

Платили за тяжелую работу исправно, но вот беда: как вино возить да его не пить?! Такого сроду не бывает. И Калина Панкратыч в одну из поездок, было это в аккурат на кре-

щенские морозы, так распустил вожжи самому себе, что уже и не помнил, как на сани с ящиками взгромоздился. А воз его в обозе тянулся последним, и никому из пьяных товарищей в ум не пало, чтобы оглянуться и проверить: сидит мужик на санях или уже сверзился? А Калина Панкратыч между тем умудрился потерять поочередно, уронив на дорогу, рукавицы, шапку, кнут, а самое главное – неизвестно по какой причине отстегнул свою деревяшку и тоже зафитил ее за ненадобностью. После и сам грохнулся на укатанный полозьями наст и даже не проснулся. Лошаденка его, оставшись без хозяина, ходу своего не сбавила и от подвод, идущих впереди, не отстала.

Дорога к этому времени (ночь уже наступила, круглая луна выкатилась) была абсолютно пустой, и лежал Калина Панкратыч, подтягивая под себя ногу, обутую в подшитый пим с кожаной заплатой на пятке, один-одинешенек во всем чистом поле. Ни лая собачьего, ни голоса человеческого, ни скрипа полозьев, ни конского храпа – ночь, степь, и дорога безмолвно поблескивает, облитая негреющим лунным светом. А мороз давит...

Так и остался бы лежать отставной солдат не проснувшись на том месте, где с воза свалился, околел бы к полуночи, но Бог, видно, смилостивился над бедолагой, зачел ему воинские страдания и послал спасение: Вася-Конь, как всегда – ночью, перегонял ворованную кобылу, чтобы укрыть ее в надежном месте под Колыванью, и на полном скаку разглядел рысьими своими глазами: вроде как человек на дороге... Придержал кобылу, спрыгнул с седла, пригляделся и обомлел: неужели это волки ногу отъели?! А когда разобрался, пожалел: загинет ведь одноногий, как пить дать загинет. Недолго раздумывая, перекинул слабо мычащее тело через конскую спину и погнал дальше. Версты через две углядел на дороге деревяшку, а затем, поочередно, уже веселясь и похохатывая, нашел кнут, шапку и рукавицы. Все подобрал, рукавицы и шапку натянул на своего найденыша, а кнут и деревяшку засунул в дорожный мешок.

К утру он был уже на месте, в своей потайной избушке в глухом углу соснового бора. Только там Калина Панкратыч и прочухался. А прочухавшись, кувыркнулся с лежанки и долго кланялся своему спасителю, упираясь руками в земляной пол. В ответ Вася-Конь только хохотал и весело допрашивал:

– Это сколько ж ты зелья, дед, в брюхо себе набухал, если даже ногу потерял?!

– Не мерял, – смиренно отвечал Калина Панкратыч; подумав, добавил: – Пустую посуду бы посчитать, дак она уехала...

– Не горюй, дед, живой остался – пересчитаешь. Ладно, хватит лбом бухаться, давай глянем: ничего не отморозил?

Отделался Калина Панкратыч, можно сказать, легким испугом, прихватило только пальцы на левой руке да оба уха. В избушке нашлось гусиное сало, и Вася-Конь, не жалея, ополовинил глиняный горшок, намазав Калине Панкратычу не только руки и уши, но и пальцы на ноге – на всякий случай.

С этого дня они и подружились.

По возвращении в город Калина Панкратыч сразу же вышел из подряда, продал лошадь, а по весне нанялся ночным сторожем на пароходную пристань. С весны до осени сторожил, а с первыми морозами заваливался в своей избушке, как медведь на спячку в берлоге, и не вылезал из нее до весенних оттепелей. Вася-Конь частенько навещался к нему и в любое время дня и ночи всегда находил приют, еду и радушие.

– Благодарствую, Калина Панкратыч, не дал с голоду помереть. Теперь и курнуть можно; дай-ка я из твоей трубочки затянусь.

Затянулся, выпустил дым из тонких ноздрей и вернул трубочку хозяину, который не преминул напомнить:

– Дак чего, спрашиваю, натворил, коль тебя Гречман по всему городу ищет? Поберегись, Гречман – мужик суровый, шутить не станет.

– Это уж точно... шуток не любит... – и Вася-Конь задумался, жалея о своем лихачестве и запоздало укоряя себя за бесшабашное дело, сотворенное по собственной глупости.

8

Закрутилось это дело полтора месяца назад, в один из воскресных вечеров, когда Вася-Конь, свободный от своей опасной работы, сидел в трактире на Трактовой улице, попивал чаек с творожными ватрушками и жмурился от удовольствия, притушивая свои рысьи глаза. Сидел он в самом дальнем углу, куда не доставал яркий свет керосиновых ламп, висевших под потолком, и вся гуляющая публика была перед ним как на ладони, а он – в тени.

Собственно, и публики-то было немного: возчики из села Берского, степенные, уже в годах мужики, да развеселая компания закаменских парней. Возчики приканчивали уже третий самовар и все рассуждали: то ли им в ночь выехать, то ли на постоялом дворе до утра переночевать. Так ничего и не решив, они подозвали полового и велели, чтобы он им еще один самовар с кипятком доставил. А к другому столу, где закаменские гуляли, половой не успевал графинчики с вином подтаскивать. С каждым новым графинчиком голоса у парней становились все громче, хвастливей, и, прислушавшись к ним, нетрудно было догадаться, что обсуждают они вчерашнюю драку, из которой вышли победителями. Славилась закаменские как первостатейные забияки и отчаянные драчуны; их хлебом не корми, а дай вволю кулаками помахаться. Если же драка принимала совсем крутой оборот, в ход пускали и кое-что посерьезнее, чем кулаки: пятифунтовую гирьку на сыромятном ремешке, плоские свинчатки с дырками для пальцев, ремни с пряжками, залитыми изнутри свинцом, а в крайнем случае и ножик из-за голенища выдергивали, не задумываясь. Закаменских побаивались, старались с ними не связываться, и поэтому в трактире они вели себя совсем по-хозяйски. Раззадорились вчерашними воспоминаниями, начали привязываться к возчикам, обзывая их гужеедами. Степенные мужики отмалчивались, стараясь не перечить, быстренько дошвыркивали чай и больше уже не спорили: ночевать им на постоялом дворе или ехать. Конечно – ехать, подальше от этих городских ухорезов. Расплатились с половым, стали уже из-за стола подниматься, как вдруг один из закаменских вскочил и заступил им дорогу. Встал в проходе, растопырив руки, и растянул мокрые губы в ухмылке:

– А почему это господа такие невежливые? Ни насрать, ни до свиданья – встали и пошли...

Парнишка был малорослый, хлипенький – соплей перешибить можно, но таких обычно и посылают первыми, чтобы завязать драку. Возчикам же в драку вступать совсем не хотелось, и один из них примиряюще заговорил:

– Ты, парень, зря не цепляйся к нам, мы люди проезжие, тихие, никого не трогаем, никому плохого не сделали...

– Как это так – не сделали? – парнишка присел и шлепнул себя по коленям, изображая возмущение. – Как не сделали? А отступного за вас кто платить будет?

– Какого отступного? – сразу, в один голос, произнесли возчики.

– А такого-рассякого! Синего-сухого! Мы, закаменские, правило установили: не хочешь битым быть – плати отступного. А вы встали и пошли!

– У нас и денег нет, чтобы платить, издалека едем...

– Тогда шубу скидывай!

– Ну уж нет, парень, это грабеж, однако! – и добродушное, растерянное лицо возчика вмиг посуровело. – Сверху всякой меры. Ослобони дорогу; шиш тебе, а не отступного!

– Да я тебе, дядя, гляделки за такие слова выдавлю! – парнишка растопырив пальцы и пошел на возчика.

Но не дошел. Добрый бойцовский удар пришелся ему точно в ухо, и он, завертевшись на лету, как юла, миновал стол, за которым сидели товарищи, и грохнулся на пол у самого порога. Закаменские дружно вскочили и бросились на возчиков, а те, в свою очередь, не дрогнули, вспомнили молодость и дружно взялись перешивать шубы своим обидчикам.

Вася-Конь закаменских не любил: знал, что храбрые они лишь в стаде, а когда один на один – сразу штаны мокрые. Но и возчикам из Берского, хотя им сочувствовал, помогать тоже не собирался. Его дело – сторона, в его деле главное – по-глупому ни в какую драку не ввязываться, разве уж по великой необходимости... Но сегодня он такой необходимости не видел и продолжал сидеть за своим столом, наблюдая со стороны за отчаянной потасовкой.

Возчики проломили стенку закаменских и уже прорывались к порогу, когда двери в трактир вдруг распахнулись настежь и нагрянула полиция. Действовала она всегда в таких случаях одним и тем же манером: вязала всех подряд, не разбирая ни правых, ни виноватых, кидала связанных, как дрова, на сани, и скопом доставляла в участок. Там их набивали в камеру, раздевая до исподнего, после чего появлялся Гречман и начинал расправу: лупил драчунов длинной рубчатой резиной, которая у него в кабинете всегда находилась под рукой. Лупил так, что шлепоток стоял, и рычал, заглушая крики задержанных:

– Порр-рря-док будет, порр-рря-док будет!

И надо сказать, что драчливый пыл после такой экзекуции у многих горячих голов остывал надолго.

Повязали возчиков и закаменских быстро и сноровисто, а заодно, до кучи, загребли и Васю-Коня, выдернув из-за стола и скрутив за спиной руки. В первый момент мелькнула у него мысль – отбиться, но он тут же и передумал, сдавшись без боя, потому как исповедовал одно золотое правило: с полицией и с иной властью, если уж они тебя совсем за глотку не взяли, лучше не связываться, лучше перетерпеть.

Но с терпением на этот раз вышла у него осечка. Когда Гречман, рыкая про порядок, который обязательно будет, вошел в камеру со своей знаменитой рубчатой резиной, он из всей толпы почему-то выделил именно Васю-Коня и именно на него обрушился в первую очередь. Вася-Конь не трепыхался, пережидая первые удары и надеясь, что полицмейстер скоро на других перекинется, но тот и не думал отступаться, размахивая своей резиной столь яростно, будто задался целью забить парня до смерти. И Вася-Конь, потеряв свою обычную хладнокровную выдержку, «качнул пьяного»: враз обвис, обмяк, закачался, голова болтается, руки, как тряпки на ветру, а резина со свистом – мимо и мимо. Гречман, свирепея, шагнул ближе, ноги у Васи-Коня словно подломились, он повалился на грудь полицмейстеру, и никто ничего не успел увидеть, только и различили – мелькнуло что-то. Это, оказывается, резина мелькнула в воздухе и шлепнулась в угол. А Гречман, беззвучно хлебая ртом воздух, завалился набок, пытался поднять голову и бессильно ронял ее.

– Ах! – словно одной грудью выдохнула толпа.

Гречман пересилил боль, утвердился сначала на четвереньках, затем медленно выпрямился и так же медленно вышел из камеры, с трудом переставляя ноги, будто они были у него деревянными.

Дверь камеры захлопнулась, снаружи лязгнули засовы.

Резина так и осталась валяться в углу.

Возчики и протрезвевшие закаменские смотрели на Васю-Коня с таким удивлением, что и высказать невозможно. А он присел на корточки у стены и сморщился от боли: в тех местах, где резина приложилась, кожа огнем горела.

– Ты чего, удалой, наделал?! – растерянно спросил один из возчиков. – Он же теперь в землю тебя втолочит!

– Пожужем – увидим, – отвечал Вася-Конь, поднимаясь с корточек и пошевеливая плечами, стараясь движениями смягчить боль.

– Если будет чем жевать, – добавил возчик и покачал головой.

Но зубы строптивому сидельцу в участке не вышибли, с ним по-другому обошлись.

Из общей камеры, пальцем не тронув, перевели в одиночную, где он спокойно переночевал. Утром ему принесли кружку чая без сахара и большой ломоть хлеба. До обеда не тревожили. А в обед появился в камеру сам Гречман. Прихлопнул за собой дверь, обитую толстым железом, и спросил, расправляя усы:

– Ну что, орел, крылья подрезать будем?

Вася-Конь благоразумно промолчал.

– Тогда отвечай – где так лихо драться научился? И что это за прием такой, сроду не видел, а?

– Борьба такая, «пьяного валять» называется. Старая борьба, теперь мало кто знает...

– А ты от кого научился?

– Да нашлись добрые люди...

– Ну-ну... Спасибо добрым людям, после и мне спасибо скажешь – за науку. Ступай! – Гречман распахнул тяжелую дверь и показал рукой в полутемный коридор: – На волю отпускаю, радуйся, что легко отделался!

Вася-Конь и впрямь обрадовался, кинулся в открытые двери, но едва он только оказался в коридоре, как сверху на него набросили кусок старого невода, даже крепкая тетива на нем была с грузилами; опутали и сшибли с ног. Прижухнулись к полу, руки заломили за спину и связали, а после вздернули и снова поставили на ноги. Дальше – и того хуже. Не давая опомниться, притащили в общую камеру, где уже стояла широкая скамейка, и на этой скамейке его разложили, сдернув штаны. Пороли плохо оттаявшими таловыми прутьями исключительно по заднему месту, пороли с оттягом, просекая кожу до живого мяса. Окончательно протрезвевшие к тому времени закаменские драчуны и берские возчики смотрели молча и со страхом, никто из них даже голоса не подал, а Вася-Конь от бессилия и злобы грыз зубами край скамейки и задавливал в себе нутряной крик.

Отходили его на славу, так, что, когда натянул на себя штаны, они быстро сделались мокрыми от крови.

– Теперь ступай, – хохотнул Гречман, – теперь ты у нас ученый.

И Васю-Коня выпустили на волю.

Неделю он провалялся на топчане у Калины Панкратыча кверху воронкой, скрипел зубами и придумывал полицмейстеру возмездия – одно страшней другого. Калина Панкратыч, словно читая его мысли, приговаривал, смазывая ему задницу конопляным маслом:

– Ты не вздумай, Василий, с ним тягаться, перетерпи, придави гордыню, с кем не бывает...

Но Вася-Конь и думать не думал, чтобы безмолвно утереться. Не бывать такому!

Вот уже и поротая задница зажила, и заботы подоспели другие, а он все не мог забыть нанесенную обиду и мучился, не находя достойного способа отомстить. Может быть, со временем и остыл бы Вася-Конь; может, и зарубцевалась бы обида, как раны на коже, но тут подоспел внезапный случай, после которого и закрутилось колесо новых неприятностей. И настиг тот случай Васю-Коня опять же в трактире на Трактовой улице, куда он забрел, чтобы попить чайку и отведать любимых ватрушек с творогом. Сидел на своем обычном месте, за столом в углу, прихлебывал чаек, наблюдая за публикой, и скоро уже собирался уходить, как вдруг увидел, что в трактире появился новый посетитель – моложавый господин с тросточкой, в хорошем пальто с бобровым воротником и в каракулевой шапочке пирожком, которая сидела на голове чуть набок, с особым, слегка небрежным шиком. Господин огляделся не торопясь, снял шапочку и уверенно направился, помахивая тросточкой, к дальнему столу, за которым сидел Вася-Конь. Подошел, вежливо склонил голову и спросил:

– Вы Василий?

– Ну, я, – насторожился Вася-Конь, – а вы кто будете?

– Хороший человек, – улыбнулся моложавый господин, – такой же хороший, как и вы, и желаю с вами сойтись поближе.

– Откуда меня знаешь? – еще больше насторожился Вася-Конь.

– Земля слухом полнится, – уклончиво ответил незнакомец, – и вот я здесь.

Он снял с себя пальто, аккуратно свернул его, положил на лавку, сверху – шапочку; тросточку прислонил к краешку стола. Пригладил зачесанные назад черные волосы и радушно улыбнулся:

– А я вас другим представлял...

– Это каким?

– Да уж таким... Знаменитый конокрад, лихой человек, и наружность у него должна быть зверской; а у вас, оказывается, обличие, как у молодого бога...

– Слушай, господин хороший, тебе чего надо? Ты кто такой? Чего подъехал ко мне?

– Ой, как много вопросов сразу! Давай по порядку, степенно. Половой! – он громко щелкнул длинными белыми пальцами и, когда подоспел половой, заказал ему водки и немудреной закуски.

В движениях, в голосе, во всей манере вести себя видна была спокойная уверенность человека, который хорошо знает себе цену и которого с намеченной им дороги не так просто свернуть. Он словно не замечал настороженности Васи-Коня и будто не слышал его сердитого голоса. Выпил рюмочку водки и, не притрагиваясь к закуске, закурил длинную папиросу, выпустил дым вьющимися колечками, полюбовался на них и лишь после этого снова заговорил, сразу перейдя на «ты»:

– Василий, ты меня не бойся, я же не полицейский и даже не тайный агент.

– А кто ты?

– Какая тебе разница? Я могу и соврать, но ты все равно не поверишь. Зови меня просто – Николай Иванович. А теперь давай к делу. Хочешь отомстить Гречману? Молчи; я знаю, что хочешь, еще как хочешь! И я тебе помогу. Мало этого – еще и заплачу хорошо. Вот задаток... – Николай Иванович неуловимо быстрым жестом сунул руку в карман пиджака и вытащил толстую пачку «красненьких». Положил деньги на стол, накрыл чистой тарелкой и подвинул Васе-Коню: – Не отказывайся, дело плевое, а деньги серьезные.

Вася-Конь поглядел на доньшко тарелки, помолчал и спросил:

– Чего я должен сделать?

– Да так, пустячок, сущий пустячок... Надо у Гречмана увести его гнедую тройку. Тихонько, без шума: вот – была, а теперь – нету. Понимаешь?

– И куда ее после, тройку эту, девать?

– Подгонишь к тому месту, которое я укажу, получишь остаток денег и – свободен. К нашему обоюдному удовольствию.

Вася-Конь подумал и кивнул, придвинул тарелку к самому краю стола, приподнял ее, перегнул пачку «красненьких» пополам и сунул в карман. «И как это я сам не догадался? – удивлялся он. – скраду коней, пусть пешком погарцует... Да и деньги не лишние».

Договорились они с Николаем Ивановичем встретиться на этом же месте через неделю. Встретились, все обговорили, и в третью ночь после Рождества Вася-Конь, как всегда, в одиночку и без помощников, разобрал стену полицейской конюшни, вывел лошадок, обратал их и даже не поленился бревна положить на место. А после, заскочив на одного из жеребцов охлюпкой, отогнал свою ночную добычу, как было оговорено, к неприметному домику на окраине, постучал условленным стуком в окно, и сразу же на стук вышел из калитки Николай Иванович. Поглядел на коней, довольно потер руки и негромко приказал:

– Открывай!

Ворота в тот же миг распахнулись, и в глубине пустого двора Вася-Конь разглядел легонькую кошевку. «Значит, запрягать будут; выходит, кони им для дела нужны», – догадался он. Для какого дела и кто такой Николай Иванович – об этом Вася-Конь даже и не задумывался. Получил деньги, сунул их, не считая, в карман полушубка и направился пешком на ночевку к Калине Панкратычу, которому ни слова не сказал о своем ночном деле. Он о своих делах вообще никому не рассказывал.

Весь следующий день Вася-Конь проспал, вечером поужинал и умудрился после этого прихватить еще и добрую часть ночи. Пробудился перед рассветом, послушал залиvistый храп Калины Панкратыча и так захотел есть, что не успевал слюну сглатывать.

Поднялся, начал наводить ревизию в чугунках, но там – хоть шаром покати. Даже хлеба не оказалось. «Дожились, едреный корень, до ручки дожились...» – еще на раз взялся проверять чугунки, но Калина Панкратыч, проснувшись, хриплым голосом известил:

– Василий, не греми зазря, нету ничегошеньки. На базар надо было сходить, да мне выполнить не захотелось. Попей водички.

Но и воды в железном бачке оказалось совсем на доньшке, да и та с каким-то мусором. Деваться некуда; хочешь не хочешь, а пришлось вылезать из избушки на белый свет и отправляться на базар. Там Вася-Конь накупил, не скупясь, самой разной провизии – как раз полмешка оказалось; свистнул подвернувшегося мальчишку и подрядил его за пятак доставить покупки до избушки Калины Панкратыча. А сам, оставшись налегке, пошел поглазеть по базару, пощелкивая каленые семечки.

Базар уже всю шумел, несмотря на ранний час, и кругом шла бойкая торговля: продавцы зазывали покупателей, громко расхваливали им свой товар, а те, в свою очередь, отчаянно торговались, желая сбить цену хотя бы на копейку. Вася-Конь, сплевывая семечную шелуху под ноги, прошел рыбный и мясной ряды; хотел уже заворачивать к винной лавке, решив угостить водочкой Калину Панкратыча, но в этот момент вдруг увидел: рассекая толпу, как мелкую рыбешку, к нему движется пристав Чукаев, а за ним, почти невидимые за широкой спиной, поспевают еще двое городских.

Вася-Конь остановился, желая проверить – может, вовсе и не к нему так торопятся «крючки». И понял: к нему. Тихонько попятился назад. Чукаев поднял руку и закричал:

– Стой! Стой, чертов сын, на месте!

Ага, щас, встанет тебе Вася-Конь столбом и будет смиренно ждать, когда ему руки заломят. Он сиганул прямо через прилавок, до смерти напугав ядреную молодуху, торговавшую морожеными шуками, и кинулся зигзагами по базару, стараясь вырваться из людской толчеи и скрыться в переулке. Но не тут-то было. Едва он оказался за базаром, как сразу наткнулся на конного городского, который загораживал ему путь в переулок. Пришлось бежать по проспекту, а вслед неслись яростные свистки и что-то неразборчиво кричал Чукаев, стоя в простых санях и тыкая кулаком в спину испуганного мужика. Видно, вскочил на первую попавшуюся подводу и велел гнать, что есть мочи.

Обкладывали Васю-Коня, как волка в загоне.

Он свернул с проспекта, пошел отмахивать через заборы, но едва лишь выскакивал на открытое пространство, как сразу же натыкался, будто на красный флажок, на городского. На Каинской улице, уже изнемогшего, они стали перехватывать его с двух сторон. Вася-Конь крутнул головой туда-сюда, понял, что выхода нет, и нырнул в ворота первого попавшегося дома – благо, они оказались открытыми. Скинул на крыльце валенки, чтобы на полу следов не оставалось, взлетел на второй этаж и схватился за медную начищенную ручку двери боковой комнаты, как за последнюю надежду...

...Рассказывать Калине Панкратычу обо всем этом Вася-Конь не стал. Сказал лишь, что и сам не знает – за какие такие грехи на него охоту объявили. И, сказав это, сразу же спросил:

– А ты не знаешь, чей это дом на Каинской – в два этажа, и ворота на столбах каменных?

– Это который резьбой расписан? Да это Шалагина дом, мельника, богатеющий господин. Ты к чему спросил?

– Да так... Резьба уж больно красивая...

Вася-Конь облизнул губы и почувствовал, что ожог внезапного поцелуя нисколько не остыл.

Глава вторая. Мчалась тройка по свежему снегу

*Мчалась тройка по свежему снегу,
И была ты со мной, и кругом ни души...
Лишь мелькали деревья в серебряной мгле,
И казалось, что всё в небесах, на земле
Мне шептало: люби, позабудь обо всем...
Я не знаю, что правдою было, что сном!*
(Из старого романа)

1

Впереди, на сколько хватало глаз, стелилось белое поле, и не было ему ни конца ни края. Гречман бежал, проваливаясь в снегу по колено; запинаясь, падал, снова вскакивал. Время от времени оглядывался назад и видел, замирая от коченеющего страха, одну и ту же картину: на рыжем коне настигал его неведомый всадник. За спиной у всадника взвихрились полы черного плаща, похожие на крылья, в руке сверкало стальным блеском остро заточенное копье, готовое вонзиться между лопаток. Ближе, ближе рыжий конь, совсем рядом стучат его копыта, а Гречман снова запинаясь в глубоком снегу, падает с разбегу лицом вниз, но успевает перевернуться на спину, и прямо в глаза ему блещет копье, прошибает нестерпимой болью. Гречман кричит изо всех сил, как кричат в последний миг перед смертью, закрывает руками глаза, ожидая ощутить под ладонями теплую кровь, но ладони сухие. Он медленно поднимает веки и вздрагивает от собственного истошного крика, вскакивает с дивана и ошалело оглядывается – что это? где?

Оказывается, в своем родном кабинете. Прилег на диван, задремал, и вот...

Дверь с костяным стуком открылась, в кабинет влетел Чукеев, вздымая над головой, словно грозное оружие, недоеденную французскую булку. Его круглые, вытаращенные глаза светились отчаянной решимостью лечь костями за начальника.

– Что случилось?! – задышливо выдохнул Чукеев.

– Да так, гадость приснилась, – Гречман рукавом рубахи вытер со лба холодный пот. Огляделся, закурил папиросу и стал натягивать на себя мундир, который повесил на спинку стула, перед тем как прилечь на диван. Привычная тяжесть мундира, сшитого из прочной толстой материи, помогла ему окончательно прийти в себя. А когда сел за свой стол, обтянутый зеленым сукном, и внушительно положил кулаки на столешницу, он сразу же стал прежним – суровым и грозным полицмейстером. Чукеев спрятал недоеденную булку за спину и вытянулся в ожидании приказаний.

– Ну, чем порадуешь? – Гречман уперся в него тяжелым взглядом.

– Да особо-то нечем радовать, – Чукеев виновато потупился и переступил с ноги на ногу. – Купца Парахина с супругой раздели, прямо у пожарного общества; только что про-
телефонировали, сейчас доставят...

– Это которые по счету?

– Да пятые уже, – вздохнул Чукеев, – я такой наглости и припомнить не могу, не было на моей памяти...

Гречман согласно покивал головой. Он тоже не мог вспомнить ничего подобного: вторую ночь подряд в центре города шли грабежи, да еще такие, о которых раньше в Ново-Николаевске и слыхом не слыхивали. Да и не грабежи это были в обычном понимании, а что-то совсем иное, похожее на объявление военных действий. Неизвестные злоумышленники

действовали дерзко, без страха и с особой наглостью. Вылетали навстречу запоздавшему экипажу на лихой тройке, кучера – в снег, богатых седоков раздевали до нижнего белья, а затем обязательно давали бесплатный совет: «Бегите, господа ограбленные, в полицию и обязательно пожалуйте полицмейстеру. Непременно пожалуйте!»

Кнут щелкал, как выстрел, – тройка бесследно исчезала в темноте. Да и то сказать – добрая у них тройка, пожалуй, одна из лучших в городе, та самая, на которой всего лишь неделю назад разъезжал Гречман. Все ограбленные в один голос подтверждали: на полицейских конях гарцуют по Ново-Николаевску грабители.

Как всегда в таких случаях, по городу поползли слухи, один другого страшней и нелепей; обыватели боялись после сумерек выходить на улицу, а Гречман, подняв по тревоге все наличные силы, шарахался, словно с завязанными глазами: наугад устраивал засады, высылал конных стражников патрулировать улицы, едва не наизнанку вывернул избушку одноногого бобыля, надеясь поймать там конокрада, убежавшего на базаре от Чукуева, – все напрасно. Пусто. А тройка его между тем летала по городу, и все новые и новые ограбленные прибывали в участок, лязгая зубами от мороза и пережитого страха. Гречман наливался тяжелой злобой, выплеснуть которую можно было только на подчиненных, и они, зная за начальником эту слабость, старались лишний раз на глаза ему не попадаться. Лишь один Чукуев, как самое приближенное лицо, буквально дневал и ночевал рядом с полицмейстером, перешедшим на казарменное положение, – вторую ночь Гречман проводил в своем кабинете, позволяя соснуть себе на четверть часа, не больше.

Чукуев продолжал стоять у порога, пряча за спиной недоеденную булку и ожидая приказаний. Но приказаний у Гречмана никаких не было. Он лишь поднял красные от недосыпа глаза и буркнул:

– Да не стой ты столбом, садись, дожевывай.

Чукуев послушно присел на стул, разом запихнул в рот остаток булки, проглотил, толком не разжевав, и заговорил, начиная издали:

– Я вот тут подумал...

– Ты еще и думать можешь?!

– Да так, знаете ли, мало-мало, – толстые губы пристава раздвинулись в угодливой улыбке, – не шибко, конечно, умно, но вот...

– Не тяни, говори по делу!

– Конюх наш, Курдюмов, утверждает, что это не конокрад на тройке носится.

– Он что, видел?

– Нет, не видел, по рассказам. Все рассказывают, что кучер, который на тройке, оглушительно щелкает бичом; иным со страху даже почудилось, что в них из нагана стреляют. А это кнутом, есть такие мастера.

– Знаю. Дальше.

– Вот Курдюмов и утверждает, что у Васи-Коня кнута никогда в помине не было. Он, гнус такой, одними вожжами и поводьями, если верхом, управляет, а еще – свистом. Сунет два пальца в рот, как врежет – у лошадей уши отваливаются. Ему, разбойнику, при таком умении кнут без надобности. А на тройке кучер – с кнутом...

– Да какая разница – он, не он? Нам-то не легче!

– Чует мое сердце – не наши это, не местные. Залетные ребята орудуют.

Гречман разжал кулаки, лежащие на столешнице, хотел что-то сказать, но не успел. В дверях, после почтительного стука, появился Балабанов, вытянулся в струнку и доложил:

– Купец Парахин с супругой доставлены. Как прикажете?

– Давай их сюда. И Плешивцева зови, протокол писать.

Первым в кабинет неслышно проскользнул полицейский писарь Плешивцев. Не скрипнув ни половицей, ни стулом, он беззвучно пристроился за маленьким столиком в углу. Обмакнул перо в чернильнице и, склонив голову, замер над чистым листом бумаги.

А вот и ограбленные. Дородный Парахин был завернут в какое-то рваное одеяло, на ногах – дырчатые пимы, из голенища одного пима высывались подвязки от кальсон. Супругу Парахина, маленькую кубышку, обрядили приличней – в старую шубу, полы ее тащились по полу, а из облезлого воротника высывалось круглое личико с махонькими поросычьими глазками. И на лице, и в глазах госпожи Парахиной отражалось только одно чувство – до сих пор не прошедший тупой ужас. С ней говорить не о чем.

– Господин Парахин, – обратился Гречман к купцу, – постарайтесь все рассказать по порядку, ничего не упустив.

– А чего рассказывать? – Парахин обиженно швыркнул носом, степенно кашлянул в кулак. – Ограбили, ободрали подчистую – вот и весь рассказ. Слава богу, что головы не проломили. А когда обчистили, велели в участок бежать и жаловаться. Еще письмо вручили, наказали: из рук в руки.

– Какое письмо? – насторожился Гречман.

– Да уж такое, без штемпеля и без марки, а чего там писано, я не ведаю, не до чтения мне было... – Парахин распахнул одеяло, и видно стало, что под резинку кальсон на крутом животе засунут синий конверт. Парахин ловко выдернул его и положил на краешек стола. Запахнул на себе одеяло и замолчал, посчитав, что все нужное он сказал.

Гречман потянул руку к конверту, но передумал и застучал короткими пальцами по зеленому сукну. На мгновенье задумался и отдал приказание:

– Чукеев, расспроси господина Парахина подробней, а после распорядись, чтобы его с супругой доставили домой.

И махнул рукой, словно убирал с глаз всех присутствующих. Первым, бесшумно, как ящерка, выскользнул из кабинета Плешивцев, прижимая к груди чернильный прибор, ручку и стопку чистой бумаги; следом за ним вышли Парахины, а последним, прикрыв за собой двери, удалился Чукеев, успев бросить тревожный взгляд на синий конверт.

Оставшись в кабинете один, Гречман выбрался из-за стола, закрыл дверь на крючок и лишь после этого взял конверт в руки. Никакой надписи, никакого рисунка на конверте не было, только по правому краешку виделся белесый след от клея. По этому следу Гречман и разорвал конверт, вытащил напополам сложенный лист бумаги, развернул. Идеальным, каллиграфическим почерком красными чернилами на листе было написано:

«Милостивый государь!

Спешу Вас обрадовать, что недавно я прибыл в богоспасаемый град Ново-Николаевск, где Вы имеете честь быть полицмейстером. Прибыл с одной целью, ясной и твердой: сурово наказать Вас за все подлые беззакония. Равно как за нынешние, допущенные на полицмейстерском поприще, так и за прошлые, когда Вы были в меньших чинах и перебивались взятками по „красненькой“. Надеюсь, Вы не забыли такие эпизоды в Вашей мутной биографии? Если забыли, постарайтесь вспомнить. Впрочем, советую вспоминать все свои грехи и каяться в них, каяться. Но сразу и предупреждаю, что покаяние Вам, даже самое искреннее и чистосердечное, не поможет. Я все равно Вас накажу.

Грабежи с сегодняшней ночи прекращаются, потому как это был всего лишь пролог к первому акту. Теперь я займусь постановкой более серьезных сцен, от лицезрения которых у вас обязательно появится недовольство. Бумаги, добытые мной у акцизного чиновника Бархатова, и его правдивый рассказ о Ваших деяниях дают просто восхитительный материал для размышлений. Этим я и займусь в ближайшее время.

Засим раскланиваюсь, прощаюсь на недолгое время и желаю Вам доброго здоровья. В петле Вы должны висеть непременно здоровым.

Р. С. И не гоняйтесь Вы, ради Бога, за каким-то конокрадом. Вы имеете дело с более серьезным противником».

Подписи под письмом не было.

2

Грабежи с той ночи и впрямь – как отрезало. Слухи пошли на убыль. Молодой город, словно человек, запнувшийся о неожиданное препятствие, тут же выправился и стремительно пошел дальше, устремляясь в завтрашний день.

Бойкий, мастеровитый, ухватистый, Ново-Николаевск резко отличался от своих старших собратьев в Сибири, потому что все здесь начиналось на голом месте и совсем недавно. Хилые домишки, бараки да огромная прямая просека, вырубленная для будущего Николаевского проспекта, – вот и все, что имелось здесь, когда после торжественного молебна заложили железнодорожный мост через Обь. Не прошло и двух десятков лет, как на берегах Оби закипела стремительная жизнь: одно за другим встали каменные здания, загудели паровые машины на мельницах и лесопильных заводах; вылупились, словно грибы после дождя, магазины и магазинчики, лавки и лавочки, рестораны и трактиры, гостиницы и постоянные дворы. Любое нужное ремесло находило в городе свое применение, и было таких ремесел изобильное количество: столярное, литейное, жестяное, слесарное, кузнечное, экипажное, колбасное, кондитерское, сапожное, кожевенное, переплетное, портняжное, пекарное, белошвейное, шляпное, шапочное, парикмахерское...

Жить новониколаевцы старались на новый, американский лад, имели собственную гордость и столицам не подражали, а соперничали с ними, как было, например, с кинематографом – он появился здесь сразу же после Москвы и Санкт-Петербурга. Железнодорожная станция и паромная пристань, через которые переваливались на восток и на запад миллионы пудов сибирского хлеба, вызвали небывалое строительство мельниц, и новониколаевские мукомолы уже снисходительно относились к наградам Нижегородской ярмарки: им куда более приятно было получать золотую медаль и почетный крест из Брюсселя, с международной выставки. Отсюда же отправлялись на запад специальные вагоны-ледники со знаменитым сибирским маслом, добежали до Ревеля, а дальше, морским путем, продолжали путешествие до Англии и Дании, где привередливые европейцы мазали это масло толстым слоем, сооружая свои бутерброды, и лишь пощелкивали языками, ощущая оригинальный вкус, который давало разнотравье Барабинской степи.

Разный, пестрый народ стекался и оседал в Ново-Николаевске. Кажется, все людские типы, какие только могла породить огромная Российская Империя; присутствовали здесь: инженеры, купцы, промышленники, священники, жулики, проходимцы, аферисты всех мастей – Господи Боже мой, да кого тут только не было!

И все кипело, бурлило, не останавливаясь ни на единый миг.

Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Диомид Чернявский все силы вкладывал в созданный им сиротский приют «Ясли», не стыдился иной раз сам выходить с кружкой для пожертвований на Базарную площадь, а ловкий делец господин Чиндорин открывал еще один ресторан за городом с отдельными кабинетами, где к услугам посетителей всегда имелись в наличии публичные девки.

Каждому – свое.

В магазинах купцов Фоменко, Маштакова и Жернакова торговали самым разным товаром; в электротeatре «Товарищество» на Базарной площади ставили вторую часть «Отверженных» – полное сочинение романа Виктора Гюго, в девяти частях, в двух программах, как было сказано в газетном объявлении; в Коммерческом клубе шли с огромным успехом концерты знаменитой певицы Александры Ильмановой; врач Иволин лечил болезни глазные,

женские, хирургические и внутренние; госпожа Хавкина распродала по фабричной цене случайно приобретенные граммофон и пластинки; в Мещанском обществе отказали в причислении в мещане девице Спируковой, 37 лет, а у господина Косолапова, проживавшего по Спасской улице, похищено было со двора дома разного рода белье в мерзлом виде на сумму 25 рублей и покраденное не разыскано; на складе лесопильного завода предлагали не только пиленые материалы и строевые бревна всех размеров, но и носки – брак по пониженной цене, а также сосновые и березовые квартирные дрова...

Всюду – жизнь в городе, разноликая, как и судьба человеческая.

3

Внезапно подул теплый ветер с Оби, снег отсырел и не подавал голоса; в полдень с иных крыш на солнечной стороне даже затюкала реденькая капель, но уже ночью, словно спохватившись, мороз придавил с прежней силой – и утром в городе все хрустело, как свежая капуста, а деревья, окованные ослепительным куржаком, казались просто сказочными. Чудилось: дотронься до них рукой – и сверху осыпется серебряный звон. Но это лишь чудилось, потому что с провислых телеграфных проводов куржак осыпался бесшумно, а слышались только гулкие удары колотушек, которыми стучали по столбам монтеры городской телефонной станции. Оказывается, куржак на проводах затруднял передачу сигнала, и с утра во многих конторах и частных домах новониколаевцы напрасно зывали: «Але, барышня, але! Барышня!» Не видимая никому «барышня» оказалась в это утро еще и безголосой – не отзывалась. Вот начальство и вооружило монтеров колотушками, отправив на улицу. «Бух-бух! Бух-бух!» – громко разносилось вдоль всего Николаевского проспекта.

Солнце, выкатываясь все выше в небо, искрилось и светило так, словно в первый раз поднялось над землей. Глаза от обильного света сами собой прищуривались, невольно выкатывались слезы, и яркий, блестящий мир представал еще более необычным.

Жить хотелось!

Даже Зеленая Варвара приостановила свой тяжелый ход по городу, оперлась на палку возле аптеки господина Ковнацкого, долго глядела на проспект, расстилающийся перед ней, на прохожих, бойко спешащих по этому проспекту, и блеклые губы ее морщились в странной кривой улыбке, словно она мучительно пыталась что-то вспомнить. Вдруг увидела двух щебечущих гимназисток в одинаковых беленьких шапочках, на которых были приколоты овальные желтые значки с надписью: «Первая Ново-Николаевская гимназия», и улыбнулась совсем по-другому – радостно, будто вспомнила то, что необходимо ей было вспомнить. Проводила гимназисток долгим взглядом и медленно, не размашисто перекрестила их вослед.

Тонечка Шалагина со своей лучшей подругой Олей Королевой ничего этого не заметили. Они торопились на занятия по вокалу и, как всегда, опаздывали, потому что добрый час потратили в магазинах, которые прямо-таки соблазняли своими вывесками, зазывая на первый этаж Торгового корпуса и обещая все, что душе угодно: от модной шляпки до шикарной шубки. Как тут удержишься, чтобы не заглянуть, не полюбоваться и не примерить!

Заглянули, полюбовались, примерили, а после посмотрели на часы, ахнули и припустили со всех ног по проспекту, потому что преподаватель вокала, господин Млынский, у которого они брали платные уроки, страсть как не любил опозданий.

Высокий, худой, в старом заношенном сюртуке, Млынский сам открыл им дверь, укоризненно покачал головой, но вслух ничего не сказал, только кивнул на «здрасьте» и сразу же прошел в зал, оставив девушек в тесной прихожей, где они причесались, перевели дух и даже успели перешепнуться.

– Видишь, как сердится, опять обвинит в легкомыслии, – тихонько говорила Тонечка своей подруге, глядя на себя в маленькое зеркальце и поправляя платье. – Угораздило же нас опоздать!

– Да ничего, – так же тихонько отвечала ей никогда не унывающая Ольга, – будем стараться изо всех сил, и он нас простит. Главное – стараться. Пошли...

Господин Млынский был одержим страстной идеей – создать в Ново-Николаевске свою оперу. По этому поводу он неустанно писал и посылал письма в городскую управу, губернатору, даже в столицу; холодные казенные отказы на свои просьбы аккуратно подшивал в папки и складывал на этажерку, где уже не оставалось свободного места. Значительную часть денег, получаемых за частные уроки, относил в Сибирский торговый банк, надеясь в конце концов собрать сумму, необходимую для того, чтобы организовать труппу. И хотя сумма росла слишком медленно, господин Млынский не терял горячей надежды и говорил своим ученикам и ученицам, что если они будут заниматься с ленцой, то путь им в будущую труппу заказан. За этими заботами и ожиданием торжественного дня, когда его труппа выйдет на сцену и станет знаменитой, господин Млынский совершенно не заметил, что от него сбежала жена с коммивояжером Богородско-Глуховской мануфактуры, и продолжал по-прежнему писать письма, подшивать отказы, сердиться и обижаться на своих подопечных, если они не вовремя приходили на занятия или занимались без всякого усердия. После исчезновения из дома своей супруги господин Млынский выбросил из тесной залы комод, стол и приобрел по случаю прекрасный беккеровский рояль, который и царствовал теперь во всем маленьком деревянном домике.

Он и сейчас стоял возле рояля, откинув назад узкую голову с длинными редкими волосами, высокий, худой, и напоминал всей своей фигурой Дон-Кихота Ламанчского, который будто сошел со страниц книжки Сервантеса, но по дороге потерял верного оруженосца, коня, рыцарскую амуницию и оказался в старом потрепанном сюртуке, залоснившемся на локтях.

– Уважаемые, – сухо обратился Млынский к девушкам, вошедшим в зал, – я ничего вам не буду говорить сегодня, я свое недоумение выражу вам в следующий раз... А сейчас позвольте представить вам этих молодых людей, с которыми мы будем репетировать в дальнейшем. У нас как раз не хватало мужских партий. Максим Кривицкий и... э-э-э...

– Александр Прокошин, – подсказал Александр, и оба прапорщика поднялись со стульев, на которых они скромно сидели в углу.

– Простите, молодой человек, – Млынский слегка поклонился Александру, затем гордо откинул голову и произнес дрогнувшим голосом: – Вы будете ядром нашей будущей труппы!

Молодые люди переглянулись друг с другом, с девушками, и все вместе едва-едва удержались от хохота. Хорошо, что Млынский, говоря о блестящем будущем, смотрел в потолок, поэтому ничего не заметил, и торжественность момента была соблюдена.

Начались занятия.

Оказалось, что у Максима Кривицкого очень приличный тенор, а его товарищ обладал вполне сносным баритоном. Правда, выяснилось, что они, в отличие от девушек, почти не знают нотной грамоты, иногда даже не совсем понимали, чего от них требует строгий Млынский, но все эти недостатки с лихвой компенсировались поистине безграничным усердием, которое прямо-таки сияло на лицах молодых прапорщиков. Звучал беккеровский рояль, заполняли маленький домик звонкие голоса, длинные волосы Млынского падали на его мокрый лоб, худые руки порхали над клавишами, девушки переглядывались с прапорщиками, а в маленькое оконце, затянутое изморозью, ломилось буйное солнце, и все в зале было накрыто искрящимся светом.

Тонечке снова чудилось, что она кружится, легка и невесома, в бесконечном танце, кружится, обо всем забыв и видя только одно-единственное – быстрые искорки в карих глазах Максима. И уже твердо знала, ощущала неведомым ей раньше чувством, что искорки

эти, волнующие, заставляющие замирать сердце, направлены только к ней. К ней, и больше ни к кому другому.

Вместо положенных в этот день двух часов занимались почти четыре, до тех пор, пока Млынский, аккомпанируя, не начал сбиваться. Сам уловив фальшивые ноты, он вскинул вверх руки, быстро-быстро пошевелил длинными пальцами и объявил:

– На сегодня достаточно, я почти доволен. Следующее занятие в пятницу, и очень прошу вас, уважаемые барышни, не опаздывать. Служение искусству – это вы должны накрепко запомнить – не терпит необязательности и легкомыслия. Да, едва не забыл... Антонина Сергеевна, я имел беседу с начальницей вашей гимназии госпожой Смирновой и смог ей доказать, что вам просто необходимо выступать перед публикой. Она сооблаговолила вам в вашем участии в благотворительных концертах. На следующем занятии мы займемся сольной программой. И отдельно поговорим о ваших опозданиях. Честь имею, до следующей встречи.

Господин Млынский церемонно поклонился, отдельно – барышням, отдельно – молодым людям, и проводил всех в тесную прихожую.

На улице, едва лишь сойдя с крылечка, молодежь сразу же начала хохотать, заставляя невольно оглядываться прохожих.

– Господа военные, ой, не могу! Господа военные... – громче всех заливалась Ольга, – скажите мне – когда вы воспылали страстью к высокому искусству?!

– Мы всегда были подвержены сей испепеляющей страсти! – воздев вверх руки и пошевеливая пальцами, точь-в-точь, как это делал Млынский, высокопарно отвечал Александр. – Еще с раннего детства она сжигала наши сердца, далекая и сладкая мечта, – петь на сцене Новониколаевской оперы!

– И вот настал час, – тут же присоединился Максим, – когда мы сделали свой первый шаг к осуществлению этой голубой и розовой мечты! Мы безмерно счастливы, мы навсегда занесем этот день на скрижали нашей памяти. Я верно говорю, Антонина Сергеевна?

– Не знаю, не знаю, – смеялась в ответ Тонечка, – вы еще должны доказать свою приверженность искусству господину Млынскому. А доказать ему ой как тяжело!

– Но вам-то мы уже доказали! Докажем и господину Млынскому, – вмешался Александр и тут же предложил: – Это историческое событие нужно непременно отметить. Уважаемые барышни, как говорит господин Млынский, имеем честь пригласить вас в кондитерскую. Возражения не принимаются.

Сказав это, он подхватил Ольгу под ручку и увлек в сторону Николаевского проспекта. Максим вопросительно глянул на Тонечку, а она вместо ответа протянула ему свою руку в белой пуховой варежке.

– Позвольте задать вопрос, Антонина Сергеевна...

– Позволяю, господин прапорщик...

– А почему Млынский особо добивался разрешения у начальницы гимназии по поводу ваших выступлений на вечерах? Или здесь какая-то тайна?

– Да что вы! Какая тайна! Год назад я пела на благотворительном вечере, мы его вместе с реалистами устраивали, и они мне такие аплодисменты... так много цветов надарили... А начальница, глядя на это, пришла к выводу, что сей успех плохо скажется на моем характере; мамочка с ней согласилась, и меня лишили выступлений на публике. Теперь начальница убедилась, что девушка я приличная, незаносчивая, что слава меня не испортила, и я возвращаюсь на сцену к великой радости господина Млынского.

– Не иронизируйте, Антонина Сергеевна, у вас действительно прекрасный голос.

– Так я и поверила в вашу лесть!

– Помилуйте, Антонина Сергеевна! Я вообще не способен кому-либо льстить, я человек прямой – что думаю, то и говорю. Кстати сказать – наши сотоварищи исчезли из пределов видимости. Вдвоем им, очевидно, лучше, чем вчетвером.

Действительно, ни Ольги, ни Александра Прокошина нигде не было видно. Они бесследно исчезли, будто растворились в тускнеющем солнечном свете.

– А знаете что, Антонина Сергеевна, давайте прокатимся за Обь, – и, не дожидаясь согласия, Максим обернулся, отыскивая взглядом извозчика. А его и искать не надо было – тут же подкатили легкие санки и хриплый голос спросил:

– Куда прикажете, господин военный?

– За Обь прокати нас, братец.

– Да с нашим удовольствием! Усаживайтесь!

Голова у извозчика была поверх шапки обмотана башлыком и казалась похожей на большущее воронье гнездо.

– Ты что, братец, мерзнешь? – участливо посочувствовал Максим.

– Ухи у меня болят, – хрипло и невнятно донеслось в ответ.

От негромкого свиста каурый жеребчик вздернул голову и взял бойкой рысью, санки покатались вдоль Николаевского проспекта. Извозчик, не оборачиваясь назад, опустил голову и чутко прислушивался – о чем говорят его пассажиры?

Перемахнули Обь, город остался за рекой, и впереди открылся огромный простор, озаренный последними лучами закатного солнца. Глухо стукотили копыта, повизгивали на поворотах кованые полозья легких санок, извозчик все выше и выше поднимал закутанную в башлык голову, и, когда он выпрямился и обернулся назад, Тонечка тихо ойкнула: она сразу узнала странного человека, который назвался в памятное утро Васей-Конем...

4

Большие, с виньеточными узорами буквы, расположенные на зеленом фоне широкой и длинной вывески, извещали: «Оружейный магазин и Пороховой Складъ Торговаго Дома М. и К. Порсевыхъ». А ниже, сбоку двери, еще одна вывеска, поменьше размерами, и на ней – не так размашисто, помельче, уточнение: «Имеется в продаже: всевозможныя двухствольныя и одноствольныя винтовки, револьверы, автоматические пистолеты и дробовыя ружья. Браунинги».

Снег перед крыльцом оружейного магазина был тщательно, до серого бульжника, выметен, и, когда подъехала гнедая тройка, хорошо подкованные копыта процокали звонко и весело.

– Прибыли-с, – негромко объявил рыжебородый кучер и зыркнул настороженным взглядом на высокое крыльцо с резными перилами. Из широких санок с поднятым верхом тяжело выбрался пристав Чукаев, а за ним – некий господин с окладистой черной бородой, пышными, вислыми усами, в длинном пальто, в теплой зимней шляпе; на правую руку у него накинута клетчатый плед. Чукаев замешкался, затоптался возле санок, но господин с пышными усами незаметно подтолкнул его левой, свободной, рукой и направил прямо на крыльцо, сам же пошел следом, не отставая ни на шаг.

Тренькнул, когда открыли дверь, колокольчик, и навстречу посетителям поспешил молодой приказчик, сверкая идеальным пробором, рассекающим тоненькой ниточкой набриолиненные курчавые волосы. На лице у приказчика – такая радушная улыбка, словно он увидел долгожданных и любимых родственников.

– Рады вас видеть, Модест Федорович, в нашем заведении, которое всегда к вашим услугам, – приказчик радулибался еще любезней. – Что будет угодно?..

– Срочно, – Чукуев пошарился в кармане шинели и вытащил вчетверо сложенный лист, – вот по этому списку... И сразу же мне счет на имя полицмейстера. Да поживей, некогда!

– Сей момент! – Но когда приказчик прочитал список, насторожился: – Сумма уж очень большая получается... С хозяином бы посоветоваться...

– Делай, что велено! – рявкнул Чукуев. – Не видишь, кто приехал?! Или тебе пенсне купить?! Выписывай счет, и мне в руки! Быстро! А то хозяин твой сам заказ повезет Гречману и сам с ним разговаривать будет!

– Нет-нет, Модест Федорович, не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде. Куда прикажете погрузить?

– На улице подвода.

Пока приказчик выписывал счет полицейскому управлению, работник, широкоплечий парень с глуповатым лицом, перенес из магазина и уложил в сани, согласно перечню на бумажном листке, следующее: пять браунингов, пять винтовок, двуствольное дробовое ружье, коробки с патронами, а также порох и дробь. Все это время господин стоял за спиной Чукуева и осматривал магазин, явно любясь воронеными стволами оружия, выставленного в пирамидах за стеклянными дверцами. Когда Чукуев получил счет, господин сунул свободную руку в карман, вытащил серебряный рубль и протянул его приказчику:

– Держи, братец, за расторопность тебе. Я назначен помощником господина полицмейстера и буду у вас довольно часто бывать. Мне понравилось. Обязательно передай это хозяину. А сейчас – извините, торопимся. Господин пристав, прошу вас, – уступил дорогу Чукуеву и следом за ним вышел из магазина, осторожно поправляя на правой руке клетчатый плед.

Следом за ними прощально звякнул колокольчик, скрипнули сани под увесистым телом Чукуева, и гнедые, подстегнутые кнутом кучера, бойко взяли с места ходкой рысью, понесли вдоль улицы, вздергивая головы и косматя гривы.

Скоро тройка выкатилась по Чернышевскому спуску на Обь, перемахнула на другой берег, свернула с накатанной дороги в реденькие кусты и там остановилась. Бока у лошадей ходили ходуном и прямо на глазах покрывались инеем – подмораживать начинало. Солнце сваливалось за макушки дальних колков, и на голубеющем снегу все длиннее вытягивались шаткие тени. Наст под ногами заскрипел, обретая звонкий голос, и господин с пледом, первым выскочив из саней, сделал несколько шагов, прислушался и улыбнулся:

– Какая музыка! Вы не находите, господин пристав, что все природные звуки гениальней любых композиторских ухищрений?

Чукуев засопел, широко раздувая ноздри, и ничего не ответил.

– Никак вы обиделись?! – не переставая улыбаться, воскликнул господин и поправил плед, который по-прежнему висел у него на руке. – Тогда примите мои извинения; честное слово, я сожалею... Не держите зла, господин пристав, а теперь давайте прощаться... Выходите на дорогу и ступайте в город. Да, чуть не забыл: низкий поклон господину Гречману. Обязательно передайте.

Чукуев сдвинулся с места, пошел спиной вперед, запнулся на ровном месте и лишь после этого повернулся лицом к дороге, заторопился, все убыстряя шаг, а затем и вовсе перешел на рысь и скоро, выбравшись на укатанную дорогу, скрылся из глаз.

– Финита ля комедия... Занавес! – господин легким движением перекинул плед через плечо, и оказалось, что в руке у него был револьвер. Осторожно спустил курок, засунул револьвер в карман длинного пальто, потряс рукой и вздохнул: – Тьфу, черт, даже пальцы занемели. Непростая, оказывается, работка – пристава под конвоем водить.

– И не говори, Николай Иванович, – отозвался рыжебородый кучер, слезая с облучка и расправляя плечи. – Он когда затопорщился да кулаком тыкать начал, я уж думал: все, пропали.

– В таких случаях, Кузьма, не надо думать, надо действовать. опытом доказано: задумчивые в нашем деле долго не живут. Та-а-к, снимаем бутафорию и быстренько исчезаем, – господин поморщился и отлепил бороду, сунул ее комком в карман пальто и пошутил: – Кузьма, а свою почему не снимаешь?

– Тоже мне – сказанули! – хохотнул кучер. – Моя-то борода настоящая, ее можно только с головой снимать... Ну, сказанул ты, Николай Иванович!

А господин между тем захватил в пригоршни снега, умылся, насухо вытерся краешком пледа, и оказалось, что это – тот самый Николай Иванович, который повстречался Васе-Коню в трактире и который подговорил его увести коней Гречмана. Вот они, лошадки добрые, стоят, отдыхают, подкрашиваются на потных боках блестящим инеем.

– Ехать пора, Николай Иванович, как бы Чукеев в погоню не кинулся...

– Поехали. Эх, а звонкое дело спроворили мы с тобой, Кузьма, эх, звонкое!

Верно было сказано – такого дела в Ново-Николаевске сроду не случалось. А свершилось оно таким образом. Пристав Чукеев на обед, если особой суеты на службе не было, всегда приходил домой. Конечно, он мог бы и на казенной лошадке подъезжать, но Модест Федорович предпочитал ходить пешком. Вот и в этот раз, отобедав, вышел из дома, но далеко уйти не успел: внезапно услышал за спиной конский храп и, не успев даже оглянуться, как сильные руки жестко ухватили его за воротник форменной шинели и вдернули в легонькую плетеную кошевку. Чукеев рванулся, не глядя, ударил кого-то неизвестного тяжелым кулаком в живот, но тут же и обмяк – прямо в лоб ему уперся холодный ствол револьвера и спокойный голос, четко выговаривая слова, сообщил:

– Сейчас выстрелю, а труп на дорогу выпихну! Разумеешь?! Веди себя тихо.

Из густой, окладистой бороды прямо в упор на него смотрели стальные, водянистого цвета глаза. И тот же спокойный голос, будто чеканя каждое слово, сообщил:

– Теперь поедem в оружейный магазин, и вот по этой бумаге, – перед глазами Чукеева оказался большой бумажный лист, – вот по этой бумаге получим все, что здесь обозначено. А если заорешь – это будет последний крик в твоей жизни. Уразумел?! Я спрашиваю: уразумел?!

Чукеев облизнул враз пересохшие губы и кивнул:

– Уразумел...

– Вот и отлично. Поехали!

Николай Иванович накинул на руку, в которой был револьвер, клетчатый плед, притер ствол в широкий бок Чукеева и доверительно сообщил:

– Знаете, господин пристав, я такой неврастеник, прямо как девица, чуть что не по мне – стреляю. Вы уж это обстоятельство не забудьте, ради любезности.

Чукеев не забыл. И все, что от него требовалось, исполнил.

Теперь, когда дело свершилось, лихая тройка, которую безуспешно разыскивал все эти дни Гречман, уносила в белую степь, облитую розовым светом закатного солнца, а Чукеев, задыхаясь, бежал к городу по накатанной дороге, которая, как назло, была в этот час абсолютно пустой.

5

Всего лишь на мгновение обернулся Вася-Конь и глянул на Тонечку Шалагину, но ему и этого мгновения хватило, чтобы увидеть и удивленные, широко распахнутые глаза, и чуть

полуоткрытые губы, и яблочный румянец на щеках, и даже махонький локон волос, выскокший из-под гимназической шапочки.

А больше ему ничего и не требовалось.

Он только за этим и вернулся в город, потеряв свое обычное чувство осторожности. Словно наваждение накатило.

Покинув домишко Калины Панкратыча, в котором было уже опасно задерживаться, он напрямик кинулся в свою потаенную избушку в глухом бору, надеясь там отсидеться и переждать, пока уляжется шум в городе. И все это было правильно и разумно, именно так он спасался уже не единожды. Но в этот раз – заколодило. Чем бы ни занимался Вася-Конь: рубил ли дрова, топил ли печку, валялся ли на топчане – он не переставал ощущать ожог внезапного поцелуя, и ему до дрожи в руках хотелось снова увидеть дочку мельника Шалагина. Порою даже чудилось, что он сходит с ума: барышня снилась по ночам, а утром казалось, что сны эти были явью. За несколько дней Вася-Конь извелся в своей избушке так, будто просидел все это время в тюрьме за крепкими воротами с неусыпным караулом.

В конце концов, он не выдержал.

Сорвался посреди ночи и пешком, по едва заметной тропе, занесенной свежим снегом, стал выбираться на проезжую дорогу, ведущую к городу. К вечеру был уже в Ново-Николаевске; ночь провел у Калины Панкратыча, а утром договорился со знакомым извозчиком, взял у него лошадь и сразу же погнал на Каинскую улицу – дожидаться, когда из ворот знакомого дома выйдет Тонечка Шалагина.

Дождлся. И больше уже не терял ее из виду, следуя буквально по пятам, чтобы в нужный момент оказаться рядом. И все случилось так, как было задумано, кроме одного: барышню взялся провожать военный, которого Вася-Конь, едва лишь увидев, возненавидел лютой ненавистью, как кровного врага.

Но военный, само собой разумеется, ничего об этом не знал, сидел сейчас за спиной Васи-Коня и говорил, говорил, не умолкая:

– Тонечка, вы представляете, я стал наблюдать за собой какие-то странности. На днях зашел в магазин господина Литвинова и купил очень красивую рамочку для портрета. Принес ее домой, поставил на комод и думаю: а зачем я ее купил? У меня нет никакого портрета, чтобы вставить в эту рамочку. И только сегодня понял: там должна быть ваша фотографическая карточка. Вы меня понимаете? Вы мне подарите такую карточку?

– Я подумаю, – отозвалась Тонечка, и в голосе у нее явственно прозвучала тревога. – Максим, давайте вернемся обратно. Я хочу домой!

– Что вы, Тонечка, посмотрите, такая красота!

– Я хочу домой!

«Испугалась, сердешная, – с умилением думал Вася-Конь, – да ты не пугайся, я за тебя кому хошь глаз вырву!»

– Эй, любезный, давай обратно поворачивай, – скомандовал Максим, и Вася-Конь стал придерживать лошадь, чтобы развернуться, но тут увидел, что из-за поворота выскочил какой-то человек. Он отчаянно размахивал руками и бежал навстречу, тяжело оскальзываясь на гладко прикатанной дороге. Вот подбежал совсем близко, и Вася-Конь узнал Чукеева. Еще не успев ни о чем подумать, он оглушительно свистнул, и лошадь, прижав уши, словно от внезапного выстрела, рванулась, махом перескочила с мелкой и неторопкой рыси в крутой галоп.

– Стой, любезный, ты куда?! – закричал Максим.

– Останови, сволочь! Я пристав! Останови! – голосил Чукеев, не переставая размахивать руками.

Но Вася-Конь уже никого не слышал. Он успел обернуться назад, словно кто его в бок толкнул: глянь! – и явственно разглядел: со стороны города, вразнобой рассыпавшись во всю ширину дороги, наметом шли конные стражники. «По мою душу, не иначе!»

Надо было спасаться.

– Стой! Я приказываю тебе – стой! – лающим голосом, будто отдавал команду, Максим еще раз попытался остановить Васю-Коня, но, увидев, что лошадь после крика только прибавила ходу, схватил его за плечо, рванул, пытаюсь свалить себе под ноги и отобрать вожжи.

Эх, господин прапорщик, не следовало бы этого делать! Не занюханный городской извозчик, тюха-матюхой, сидел на облучке, а бывалый, несмотря на молодость, и матерый конокрад, который не раз побывал в смертельных переделках и вышел из них целым. Вася-Конь закусил зубами мерзлые вожжи, ухватил Максима за кисть руки, крутнул и рванул ее на себя; чуть пригнулся, принимая на спину враз ослабевшее тело, и резким толчком выкинул его из кошевки. Только яркие стальные подковки мелькнули на каблуках добротных сапог.

Взвизгнула Тонечка.

– Ты не бойсь, не бойсь, барышня! – успевал на стремительном ходу оглядываться Вася-Конь. – Я за тебя кому хошь глаз вырву! Держись крепче!

Еще один режущий свист полохнул над округой, и лошадка буквально выстелилась в оглоблях. Березы по обочине замелькали частоколом. Но и конные стражники, без устали работая плетками, никак не желали отставать и шли на одинаковом расстоянии, будто при-вязанные.

Дело принимало худой оборот.

Вася-Конь метнул рысьим взглядом вперед – там, розовея под закатным солнцем иззубренными макушками, понизу темнел сплошной полосой густой бор. Лишь бы достигнуть его, лишь бы стражники пальбу не открыли, а уж там, в бору, он уйдет от преследователей, как пить дать – уйдет, как уже случилось не единожды.

Понимали это и стражники, все убыстряя и убыстряя скачку.

Ближе, ближе темная стена бора. Вот уже и крайнюю, на отшибе стоящую сосну хорошо видно: толстенный ствол расщеплен молнией надвое и одна половина засохла, только сучья торчат, а другая закрыта густой хвоей. От этой сосны, сразу влево, виляет узенькая, едва различимая тропинка, густо занесенная снегом. На тропинку и скользнула лошадка, плавно свернув с накатанной дороги, словно понимала, что от нее требуется.

И пошло!

Бугорки, увалы, загогулины – голова кругом!

Стражники с разгону сначала проскочили тропинку, затем вернулись, но вскачь уже не понеслись – опаска взяла. Нарываться на внезапный выстрел, ведь за каждое дерево не заглянешь, никому не хотелось.

А Вася-Конь между тем, пользуясь заминкой преследователей, уходил все дальше и дальше в глубь бора и вот, наконец, уперся в полное бездорожье: справа и слева непролазный чащобник, а впереди – глубокий, почти с отвесным обрывом, длиннющий лог.

Дальше не было никакого ходу.

Еще не видные за деревьями, сзади приближались стражники. Слышны были их голоса.

Вася-Конь остановил запаленную лошадь у самого обрыва, бросил вожжи и выско-чил из кошевки. Подбежал к ближней могучей сосне и по-собачьи стал разрывать снег у подножия комля. Скоро из раскиданного сугроба проявился колодезный ворот; Вася-Конь голыми руками ухватился за изогнутую железную ручку и, напрягаясь, потянул ее сначала к себе, а затем – от себя. Ворот, лежавший на двух низких и толстых столбах, промерзло и тягуче закрипел; вспучивая сугроб по всей ширине лога, вверх стала подниматься толстая веревка, белая от прилипшего к ней снега. Вот она вытянулась, как струна, и стало видно,

что тянется она от ворота к верхушке высокой корабельной сосны, стоящей на другой стороне лога. Вася-Конь, пылая паром и напрягаясь изо всех сил, продолжал крутить ворот. Тот визгливо поскрипывал, наматывая на себя веревку. Казалось, что, натянутая до отказа, она вот-вот лопнет. Но веревка дюжила. Вдруг сосна на другой стороне лога шатнулась раз, другой, раздался протяжный крякающий звук, и густая макушка, стряхнув с себя белую шапку, стала клониться вперед. В какой-то момент помнилось, что она сейчас рухнет, как подрубленная, но нет – сосна опускалась плавно. Макушка послушно легла перед кошевкой, и увиделось: часть сучьев на сосне была срублена, а на оставшиеся прибиты доски, и прибиты таким образом, что образовывали узкий помост, который соединял теперь оба обрыва глубокого лога.

Вася-Конь выдернул из-за голенища нож, отпластнул веревку, бросился к лошади и, крепко ухватив ее за уздцы, потянул за собой. Лошадь пугалась, всхрапывала, задирая голову, но подчинялась опытной руке и двигалась по шаткому помосту, осторожно ставя копыта на мерзлые доски, словно проверяла их на прочность. Тонечка, крепко зажмурился от ужаса, сидела в кошевке, не шевелясь.

Разнобойный топот копыт накатывал все ближе, но Вася-Конь даже не оборачивался назад. Продолжая тянуть за собой лошадь, смотрел только вперед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.